

АНГЕЛ ГОРОДКА ЧЕКИСТОВ

Проза «Ахиллы»

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАРИЯ САРАДЖИШВИЛИ

С чистого листа — с. 3

Один рабочий день — с. 10

Если вам захочется в монастырь — с.17

Конфессий острые углы — с. 28

Проблемное приданое — с. 41

Про собаку Набо, синдром отличницы и тайны детской психики — с. 46

МИХАИЛ ПАРФЕНОВ

Отец диакон — с. 51

Баллада о Кадиле — с. 68

СТЕПАН ДВОЙНОВСКИЙ

Амнезия — с. 82

Пожертвование — с. 87

Воскресение — с. 91

Порча — с. 96

КСЕНИЯ ВОЛЯНСКАЯ

Ангел городка Чекистов — с. 101

Так вам и надо — с. 109

Божья коровка — с. 113

АЛЕКСЕЙ ПЛУЖНИКОВ

Иван Соломонович — с. 119

Толик — с. 124

ОЛЬГА КОЗЭЛЬ

Никто сюда не придет — с. 127

Полигон — с. 129

Крапинки — с. 130

Пионерки и братья — с. 134

Трамвайное яблоко — с. 137

Галь-Валь — с. 139

Элвис Пресли и зеленые ежики — с. 142

Бабушка и самолет — с. 145

Когда плачут мужчины — с. 147

Новый роман — с. 150

АННА СКВОРЦОВА

На темной стороне — с. 153

ИРИНА ОРЛОВА

Неудавшийся дебют — с. 161

ЛИНА СТАРОСТИНА

Подарочек — с. 170

Такая разная любовь — с. 173

Куда уходят деревья — с. 181

Квартира №136 — с. 185

Святой обет — с. 188

ГЕЛИЯ ХАРИТОНОВА

Заначка — с. 192

Нечаянная радость — с. 195

Таксистка — с. 200

ГЕННАДИЙ ТРАВНИКОВ

Родник — с. 204

МАРИЯ САРАДЖИШВИЛИ

С чистого листа

Тамрико, переваливаясь с боку на бок — замучили жиры проклятые, — влезла по крутой лестнице в красно-синий автобус. Сперва, конечно, на лобовое стекло глянула. Надпись «Tbilisi — Istambul», значит, ее маршрут. Помахала рукой шоферу Исмаилу и пошла вглубь салона на свое излюбленное место. Исмаил ответно осклабился. Тоже давно на этой линии шоферит, всех своих клиентов знает в лицо.

Тамрико устроилась поудобней и посмотрела в окно. Сразу подсекла на тротуаре двоих парней. Один из них бросил быстрый взгляд на нее и, ткнув другого локтем в бок, сказал что-то позорное. Оба заржали.

Пришлось отвернуться от окна. Очень надо на эти биологические оболочки последние нервы тратить. Тем более, что их реакция давно не в новость. На всех, как известно, своя печать. Вон бабка-разносчица залезла в дверь автобуса и выкрикивает заученное:

— Кому пряники, сигареты, салфетки?

Сама коричневая, сморщенная, руки-крюки лоток на веревке держат. Тоже сразу видно, чем живет-дышит.

Или вон у кассы патруль стоит, рацией фуражку поправляет. Тоже печать на типе, но другая, естественно.

Исмаил свесился из кабины и с кем-то болтает. И на нем жизнь свою отметину поставила. А у Тамрико своя печать. Особенная. Даже если не краситься, все равно мужики сразу глаз кладут. Двадцать лет стажа в Турции в карман не спрячешь.

Подумать только, столько лет пролетело... В начале 90-х Тамрико, как и многие, попыталась торговлей заняться. Тогда в Тбилиси вообще ловить было нечего. Полный мрак и хлебные очереди по записи — особо не развернешься. Вот и махнула Тамрико на последние деньги в Стамбул. Но оказалось, торговля — дело тонкое. Тоже свой талант нужен. Не пошел

бизнес. Зато другой вариант подвернулся. В гостинице свои девчонки идею подкинули.

— Не возвращаться же тебе домой пустой. Приличные деньги на трусах и майках все равно не сделаешь. Вид у тебя свежий. Клиентов будет выше крыши.

Сперва Тамрико колебалась. Потом пошло-поехало. Тем более что великая цель ей силы придавала. Дома мать и маленький брат Ванико. Что они там одни могут сделать, когда долги, как снежный ком, растут. Вся надежда на Тамрико-кормилицу.

После первой ездки привезла она 1000 долларов. Большие деньги по тем временам. Полгода на них жили, пока все не проели.

Потом уже насчет избранного пути сомнений не было. Кругом разруха, беженцы, беспризорики на улице — кто милостыню просит, кто по карманам шарит. Надо выживать. Или «коллеги» ее у цирка стоят. Красная цена им 10–20 лар, если повезет. Иди и живи на эти копейки, да еще и детей расти.

А тут еще ей знак судьбы вышел — пришлось первый аборт сделать. Рожать без мужа в Тбилиси менталитет не позволил. Каждый потом в ребенка стал бы пальцем тыкать:

— Набичвари¹.

В автобус с громадной сумищей, пыхтя, влезла Назико. Кивнула Исмаилу и села впереди. Тоже, вот, в своем ярме человек. Опять, наверное, контрабанду везет.

Как-то Тамрико хотела ей помочь сумку поднять — задохнулась с непривычки. А Назико, тоже клизма без механизма, еще ее на смех подняла:

— Потаскай с мое — Шварценеггером станешь, подстилка турецкая.

У нее там между тряпками штук 10 бутылок водки припрятано. Назико эту водку для наших девчонок, кто на постоянке, везет. По несколько долларов с бутылки выгадает. Есть за что рисковать. И еще лежащая мать и трое детей в Батуми Назико особый стимул дают. Как же тут без контрабанды обойтись. В Сарпи, на таможке Назико каждый раз по полжизни теряет. Турки, если застукнут, сразу паспорт испортят.

Но ничего, есть Бог на свете, пока проносит.

Язык только у Назико очень острый. Любит про Тамрико обидное слово вернуть при людях.

Как видно, ее жизнь по-настоящему к стенке не припирала. Вот и развлекается.

Автобус уже вовсю катит по шоссе.

Жизнь, в понимании Тамрико, эскалатор в метро. То вверх едешь, то вниз, в мазут спускаешься. И покруче люди, чем Назико, в этом мазуте мажутся.

В голову сама собой полезла старая газетная шумиха.

Это еще при Шеварднадзе было. Один раскрученный писатель описал в своей повести первую брачную ночь царицы Тамары. Да с такими подробностями, будто сам под кроватью сидел. Шухур вышел приличный. Весь парламент на уши встал. Дескать, такой-сякой оскорбил нашу национальную гордость. Писатель стал извиняться, что, мол, не поняли его. И вообще тут «тонкий аллергический смысл», или еще что-то такое для особо одаренных.

Тамрико тогда заинтересовалась и прочла ту писанину от корки до корки. Ничего обидного не нашла. Это ведь еще с какой стороны посмотреть. Царица точно святая была, раз два года при себе извращенца терпела. Не ради долларов, а ради одной только любви к Грузии и политических интересов. Уж Тамрико этих озабоченных видела-перевидела, хоть книгу про них пиши. Да и вообще, поди разберись, что там было 900 лет назад. Отсюда не видно.

В двадцать первом веке своих вынужденных ситуаций хватает.

Как-то в этом же автобусе еще в начале своей карьеры она целую стаю молодняка заприметила. Горластые, палец покажи — хохочут, но сразу видно: друг за друга держатся, как пришитые. На вид русские, а говорят, как все, мешая два языка. Подсела к ним Тамрико с конкретным вопросом:

— Откуда вы, девочки?

— Из Тбилиси.

— ...С Трикотажки.

— ...Я из руставского деде, — уточнила светленькая с кудряшками.

— А мы из батумского, — откликнулись сразу трое с кричащей помадой.

— В первый раз в Турцию? — уточнила Тамрико.

— А че, на нас написано, да? — сидящие поближе к ней сразу же стали в оборону. — А ты кто тут? Старый босс на этой трассе?

Тамрико — мастер любой конфликт в шутку обратить. У нее для этого уйма анекдотов всегда наготове. Она и тут не растерялась. Если память ей не изменяет, им про турков хохму рассказала. В смысле, как себя вести при встрече.

...Заходит грузин в одну комнату, где четверо турков сидят. Первый встал, руку протянул и говорит:

— Мераба.

Грузин, само собой, руку пожал и представился:

— Вахо.

Второй турок ему руку протянул:

— Мераба.

Дальше третий и четвертый то же самое сделали. Наш балдеет про себя: «Ва-а, какое у турок наше „Мераб“ распространенное имя».

На другой день подходит он к тем же туркам. Первый ему руку протянул и говорит:

— Вахо.

«Издевается, что ли?» — подумал грузин. Тут остальные трое поднялись и все вместе ему:

— Вахо!

А прикол тут вот в чем: «Мераба»² по- турецки «Здравствуй», а «Вахо» турки восприняли как ответ на приветствие, поэтому на другой день решили грузину уважение сделать...

Автобус летит себе по графику. Уже ночь наступила.

...Девчонки тогда поржали, где надо, и о себе вкратце рассказали. Они ПТУ при Трикотажке закончили. Только их в рабочее общежитие заселили, а тут как раз Союз развалился. Следом гражданская война. Фабрика, конечно, прикрылась. Ушлая дирекция себя не забыла, станки в металлолом сдала, а рабочее общежитие приватизировала. Кто смог — выкупил свою

комнатушку, а кто нет — стал вечным квартирантом. Самые умные из их группы спешно замуж за соседских ребят повыскакивали, а эти бедолаги тыркнулись туда-сюда и поняли: одно им осталось — у цирка клиентов снимать. А там своя уже сбита бригада пасется, чужаков не пускает. Вот и решили они в Турцию рвануть. Там хоть ставки выше.

Тамрико им весь разброс цен назвала, а про себя отметила:

— Долго вы здесь не задержитесь. Ни манер, ни обхождения. Один нахрап немного стоит.

Тамрико — другой колор. В свое время музыке училась и вообще знает, где как себя представить.

Дорога на автобусе длинная, тряская. Одна из них, Рита Овечкина (и вид у нее был под стать фамилии, что-то такое в лице от беленького ягненочка) ударилась в воспоминания:

— Помните, девочки, что в деде нам Нинаванна говорила: «Вы, мол, находитесь под особым покровом Божьей Матери. Ведите себя соответственно». Эх, увидеть бы ее еще раз. Она бы что-то нормальное нам придумала...

(Эта, точно, едет, чтоб только от своих не отстать, вычислила Тамрико.)

— Не свисти, Ритка, — заткнула ее сидящая через проход Рая. — Что бы она придумала? На свои 14 лар пенсии, небось, сейчас не знает, как прожить. Вот мы бабки сделаем и ей потом отвалим.

(О, эта деловая, наверняка всех и подбила на поездку. Лидера и без микроскопа видно.)

— Не... Маруся! — Рая вставила известную присказку. — Прорвемся. Вон у Ленки, — кивок в сторону сестры-близнеца, — недавно какой финт вышел. Зура — козья морда ей не заплатил, да еще и фонарей наставил.

И через неделю в ящик сыграл. Правильно учиха зудела. Мы под этим, как его, покровом!

Так, болтая, доехали до Стамбула. Дальше разошлись кто куда.

Недавно Тамрико встретила на базаре ту самую Риту Овечкину. Вся в прыщах, волосы — жирные сосульки, сразу видно — бомжует. Ходила между рядами, кланчила мелочь.

Отошли в сторонку. Разговорились.

— ...Да почти никого из наших не осталось, — то и дело шмыгая носом, сообщила Рита. — Райка спилась, Ленку, ее сестру, убили, — и пошла дальше сыпать голые факты, что с кем стало. Потом, криво улыбаясь, вывела: — Такие, как мы, долго не живут...

Сейчас при воспоминании о тех шумных девчонках у Тамрико потекла тушь. Э, стареет она, стареет. Сентиментальность на сердце давит. При ее бизнесе — совсемдохлое дело. Послать бы этот вшивый бизнес куда подальше. Тем более что спустя 20 лет ее «великая цель» совсем по-другому выглядит.

Ее брату Ванико уже 34 года. Годами киснет у телевизора. За руль не сядет, на стройку не пойдет. Только и дела у него — лазить по городу в шикарном костюме и двумя пальцами пылинки с себя стряхивать.

Хотела его Тамрико женить на богатой невесте. Так мыслила: своих детей у нее не будет, хоть племянники в старости ей сердце согреют. Потому и вкладывала все деньги в квартиру — базу создавала.

Девчонки — «сотрудницы» тормозили ее, как могли:

— Ты просто дура со знаком качества. Мужикам добро делать нельзя. Не оценят.

Тамрико с ними не спорила. Если хоть кого-то на этом свете не любить, тогда зачем вообще жить?

Планы все — труха. Брат и не думает жениться. Только зубы скалит.

— Успеется. Мужчина всегда жених. В Грузии тем более.

Недавно этот бездельник себе непыльное занятие нашел. Священнику теперь помогает церковь строить. Ходит с кружкой по району, деньги с умным видом собирает.

Последнее время стал домой всякие церковные книжки таскать. Перед отъездом Тамрико взяла одну со скуки полистать. Наткнулась на строчки о Марии Египетской. Будто ее кто в пухлую спину толкнул: «Это мое!» Перечла повнимательней и вздохнула:

— Помогла бы ты мне это дело закруглить. А то как бы на мне самой одну большую точку там, сверху, не поставили...

Этот страх Тамрико гнала от себя, как могла. Анекдот в тему вспомнился.

...Одна проститутка в критический момент молится Богу:

— Пронеси, Господи. Только не сейчас меня заberi.

Опасность прошла мимо. Потом через какое-то время другая угроза. Снова она молится:

— Спаси и сохрани, Господи. Только не сейчас заberi меня.

И так же в третий раз.

Потом через какое-то время плывет эта проститутка на большом корабле. Вдруг корабль начинает тонуть. Ей все ясно — час расплаты настал.

Опять обращается к Богу:

— Господи, я-то — понятно, но другие люди чем виноваты? Пожалей их, Господи.

Ей голос сверху:

— Я вас, таких, три года по всему свету собирал...

Кому анекдот, а для Тамрико — житейская мудрость. У нее тоже в жизни было несколько таких моментов, когда все нутро кричало: «Господи, спаси!». И Он спасал.

А вдруг завтра последний день?

В окне уже Сарпи показалось. Тут к ней подсела Назико. Видок чего-то неважный. Губы сизые дрожат, сама себе руки на нервах тискает.

— Тамро, умоляю, как сестру прошу...

Значит, точно, дело — труба, раз турецкая подстилка уже сестрой стала.

— ...Возьми мою сумку. Я чувствую, не пройти мне сегодня таможку. Тебя ведь все равно не проверяют.

(Тамрико в лицо знали все на переходе и никогда толком не копались в сумке. «Мадам» на промысел едет, чего зря возиться.)

— Умоляю тебя, — у Назико брызнули слезы. — Детьми клянусь, не забуду твоей доброты...

Какая-то небывалая усталость разом накатила на Тамрико. Если зацапают, оно и к лучшему.

— Давай, тащи, что ли, — кивнула она, даже не вспомнив старые обиды.

... Встретились они уже по ту сторону границы. Назико взяла назад «опасную» сумку и вдруг выдала:

— Давай вместе работать. Ты мне здесь будешь тряпки закупать, а я там — реализовывать. Мне верный человек позарез нужен.

Тамрико, не раздумывая, хлопнула Назико по открытой ладони и подмигнула:

— Я думаю, мы споемся.

И первая полезла в ждущий их автобус уже совсем в другом настроении. Ведь не каждый день можно начать жизнь с чистого листа.

— —

¹ Незаконнорожденный (груз.)

² Имеется в виду искаженное «Мерхаба»

Один рабочий день

«А кто имеет достаток в мире,
но видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, —
как пребывает в том любовь Божия?
Дети мои! Станем любить не словом
И языком, но делом и истиной».

1 Ин. гл. 3: 17, 18

До рассвета еще далеко. На темной улице видна одинокая фигура дворничихи. На ней ярко-оранжевый жилет, длинная юбка и пестрый платок, повязанный узлом на затылке. В ушах традиционные для замужней курдянки золотые серьги величиной с лесной орех.

Шр-шр, швырк-швырк. Ходит туда-сюда растрепанная метла в руках Розы, сметает окурки, бумажки, листья вперемешку с одноразовыми шприцами в аккуратные кучи. Надо успеть к 8 часам, когда из подъездов покажутся первые жильцы.

Как давно она здесь? Считай, с 15 лет, как ее замуж выдали, так она и заступила на этот участок. Сейчас Розе 31. Сколько лет, как один день, пролетело! Перерыв был только тогда, когда она трех сыновей родила. А потом, как муж от туберкулеза умер, и вовсе все в одно — метла да улица — слилось.

Иногда, правда, бывают проблески, если кто-то позовет подъезд убрать или унитаз помыть. (Ее, курдянку, мало кто дальше туалета пустит. На генеральные уборки либо русских, либо грузинок зовут, да таких, чтоб внешний вид имели непозорный.)

Вот интересно, почему так в жизни устроено: человек на человека с прищуром смотрит? Белый на черного косо глядит, русский грузина чуркой зовет, а грузин, в свою очередь, курда в упор не видит.

Розу это раньше очень в сердце кололо. А потом, как к вере пришла, от души отлегло. Не все люди такие. Вот у них в молитвенном доме совсем по-другому. Равноправие. Правда, что братья и сестры.

Пресвитер хорошо так разъясняет: «Нет лицеприятия у Бога».

Сейчас даже представить трудно, что бы она, Роза, без них всех делала, если бы не та встреча с братом Виктором.

10 лет назад после похорон Реваза Роза себе места не находила, плакала и дома, и в транспорте.

Будто вчера это было. Присела она тогда у мусорного бака, ждала свою напарницу Гуло. Слезы сами бежали из глаз. А в голове крутилась одна и та же мысль, как пластинка заигранная: «Как мне жить дальше?»

Мимо то и дело проходили люди, занятые собой, не видевшие ни Розу, ни ее метлу с ржавым совком. Честно говоря, и Роза их не видела. Не до того было.

Вдруг кто-то тронул ее за плечо и спросил по-русски:

— Сестра, что случилось? Почему вы плачете?

Роза вздрогнула и подняла заплаканные глаза. Перед ней стоял седой голубоглазый человек в немодном пиджаке и серых брюках. «Вот, навязался на мою голову», — пронеслось у нее.

Станный тип присел рядом с ней на парапет, да так естественно, будто опустился на диван, и снова спросил:

— Сестра, может, я могу вам помочь?

Только тут Роза сообразила, как он к ней обращается. Так никто с ней не говорил.

Мало-помалу она разговорилась, рассказала про свою головную боль — троих сыновей, которых как-то надо было поднимать.

Незнакомец слушал внимательно. Потом с азартом предложил:

— Пойдемте к нам, на Каховку — в молельный дом! Вместе что-нибудь придумаем.

Роза задумалась. Идти куда-то с незнакомым мужиком не укладывалось в ее голове. Потом вспомнила, как он к ней прикоснулся и сказал неслыханное — «сестра». И Роза решилась.

Дело в том, что рука руке рознь. Вон, толстый Нугзар, начальник с мусорной конторы, всю дорогу к ней клеится. Знает, собака, что она одна, без мужа. Вот и не теряется.

Она ему недавно сказала: «Я человек верующий!» А он заржал, да так, что золотой крест задергался на потной волосатой груди.

— Да иди ты! — говорит. — Что-то я верующих курдов не видел! Вы кто, солнцепоклонники или мусульмане? — и тут же стал наступать на нее. — А ну, где твой крест? Ты даже некрещеная, а туда же! — и психанул, сам не зная почему. — Иди давай отсюда, пока я добрый!

Вот и доказывай ему! Роза крещение в молельном доме принимала и очень к нему готовилась. Пресвитер Виктор долго с ней говорил, объяснял что к чему. У них, у евангельских христиан, крест не носят. Главное — дела веры. А крест, он не показатель. Он теперь у каждого шофера в кабине рядом со Сталиным висит. Увидишь его и у вора-карманника, и у политика, который людям в глаза врать не стесняется...

Роза тем временем сгребла листья в огромную кучу и подожгла. Сизый тяжелый дым за клубился по улице.

Между тем совсем рассвело. И на улице появились первые прохожие — физкультурники в фирменных ботасах и любители собак со своими откормленными боксерами и питбулями. С некоторыми Роза здоровалась, те в ответ, в лучшем случае, кивали.

Тут, в основном, публика вся обеспеченная живет: профессора, доценты с кандидатами, телевизионщики и прочие; у каждого по 2–3 квартиры. Кто для них Роза? Так, часть окружающей среды. А к окружающей среде у нас отношение известное. Перешагнул и дальше пошел.

Значит, что у Розы по плану? Ну да, Тина из 6-го номера обещала 5 лар за подъезд дать.

Роза подхватила метлу с совком и направилась к шестому номеру. Тина, высокая и тощая балерина с черными выпрямленными волосами, живет на третьем этаже. У нее сегодня дочка замуж выходит. Вот и хочет марафет навести — жениху и гостям в глаза пыль пустить. 5 лар — маловато за огромный подъезд и 6 пролетов, но что скажешь. Может, из еды ей что-то вынесет, и то дело. Роза, как уверовала, взяла себе за правило — не торговаться. Сказано ведь где-то: «За все благодарите».

Роза позвонила Тине в дверь. Та вылезла заспанная в пестрой пижаме и, не дав Розе и рта раскрыть, раскричалась:

— Чего ты мне звонишь в такую рань?! А? Боже мой, сколько ненормальных на мою голову! Сказала же тебе: «Деньги после работы». Вот наглая!

— Я воду горячую хотела, — заикнулась было Роза.

В ответ последовал новый взрыв возмущения:

— А у меня здесь что? Бесплатные серные бани? Где у меня лишние деньги воду греть?

И дверью хлопнула.

Роза и не удивилась. Они все тут нервные, от больших денег, наверное, в голову стучает. У каждого и «Атмор», и газ, и супертехника в квартире, а горячей воды в такую холодину ни у кого не допросишься.

Роза начала тщательно подметать подъезд, отдирая ножом то тут, то там налипшие лепешки-жвачки. Убирать, так на совесть.

Пресвитер им говорит: «Все, что вы делаете, делайте, как для Господа. Он увидит ваше старание и воздаст сторицей!»

Вот за эту кропотливость в работе и бывали у Розы проблемы. Нет, не с этими нервнобольными, а со своими же курдами — Гуло, Додо, Зоей — уборщицами с соседних участков.

Гуло — старая, морщинистая, как сушеный инжир, сгорбленная бабка не раз грозилась оттащить Розу за волосы и обломать об нее свою метлу, говоря:

— Ты так все вылизываешь, а потом эти твари с нас то же самое требуют и деньги зажимают!

И ругалась всячески на всех языках, которые знала.

Роза ей не отвечала. И не обидно даже. Что с нее, с Гуло, взять? Всю жизнь прожила (да еще какую тяжелую), а главного — зачем человек в этот мир приходит — не поняла.

С подъездом пришлось провозиться долго, до 12 дня. Тина ее еще и стенки обтереть заставила. А под конец еще работу нашла:

— Барем и туалет помой! Вот тебе бритва. Поскреби хорошенько!

Перчатки, конечно, не дала. Много чести.

Когда унитаз заблестел магазинной чистотой, Тина выудила из своей кожаной сумки с множеством молний 4 лара и протянула Розе:

— Лар как-нибудь потом дам. Иди, что стала?! Нам некогда. На венчание торопимся.

И дверью перед носом — брах.

Ясное дело, о ларе она тут же забудет. С ее-то занятостью да о такой ерунде думать.

Лар Роза как раз на дорогу туда-обратно тратит, чтоб с Варкетили — спальника до светского Ваке доехать.

Самое время устроить себе обеденный перерыв — закусить картофельными пирожками. А потом уже к восьмому номеру — двор убирать. К двум часам туда Мураз, Розин младший, подойдет помогать.

Муразик у нее, с какой стороны ни глянь — утешение.

Со старшим Темо проблемы, как и с каждым 16-летним, да еще он больной. Каждый день Розе стирку создает. Средний, Рамаз, тоже уже упущенный — не догонишь. Один Мураз ее, Розу, жалеет и, как может, помогает: ведра с водой таскает на 10-й этаж (в Варкетили часто воду отключают), дрова со свалки для печки собирает и все другое, что ему, десятилетке, по силам, делает.

А вот и он у подъезда сидит. Что-то грустный какой-то, и на щеке царапина. Опять в школе, видно, подрался...

...В четыре руки работать — куда как быстрее дело идет.

Мать и сын уже убрали полдвора, когда на балконе второго этажа показалась 16-летняя лохматая девица в куцем свитерке до пупка и обтягивающих джинсах. Она лениво поцкапанала в мобильнике, потом обернулась назад к комнате и крикнула капризным голосом:

— Додо, эта када, что на столе лежит, постная? Там яиц нет? Я завтра причащаться собираюсь.

— Да, постная, — эхом ответила из глубины комнаты невидимая Додо.

Девица ушла и вновь появилась на балконе, вооруженная бутылкой Кока-колы и куском кады. Не торопясь, уничтожила и то, и другое, затем выкинула пустую бутылку на уже убранный двор.

Мураз разозлился:

— Эй, ты что, ослепла? Мы здесь только что убрали!

— Тебя забыла спросить! — моментально среагировала русалка с балкона. — Помалкивай, недоделанный.

Завязалась перебранка.

На шум выскочила Додо в халате с огнедышащим перепончатокрылым змеем на спине и раскричалась на Розу:

— Уйми его! Он первый начал!

Кое-как мир был восстановлен.

По пути к маршрутке, таща сумки со старым паркетом (дрова на зиму), Мураз рассказывал матери, что было сегодня в школе.

Потом неожиданно спросил, задрав кверху смуглое лицо:

— Мам, а миллиард людей — это примерно сколько? Как весь Тбилиси?

— Нет. Намного больше, — Роза затруднилась с ответом, так как в математике была не сильна.

— Нам учительница говорила, что в мире миллиард христиан. Если нас так много, то почему жизнь такая плохая?

Роза, как могла, стала объяснять, что значит «Царство Божие внутри вас есть».

Мураз молча слушал, идя рядом и волоча давно потерявшую цвет сумку.

День склонялся к вечеру.

В принципе, это был неплохой день для Розы. Без лишней нервотрепки в кармане осталось 14 лар. Для четверых негусто, но и не плохо.

Сколько таких дней впереди? Кто знает...

Прошло 3 года. Как-то утром у крошечного магазинчика с громкой вывеской «Supermarket» столкнулись Тина и Додо. Расцвели светскими улыбками навстречу друг другу, обрадовались.

— Как ты, Додо? 100 лет тебя не видела! Как дома? — зачастила Тина, не снимая с лица вежливого интереса.

Додо в свою очередь отвесила порцию этикетной сладости.

Тина между делом спросила:

— Додо, шени чириме, ты случайно Розу не видела? Хочу, чтоб наш двор убрала.

Тина выкатила глаза и чуть понизила голос:

— Ты не знаешь, что случилось? Вчера ее адвокат приходил. Из 10-го номера на нее заявление написали, что она их подвалы обчистила.

— Вай, вай, — испугалась Додо, — что ты мне сказала! Я ее как-то к себе в туалет пускала на уборку. Как, оказывается, я рисковала! Меня прямо Бог спас, что она у меня ничего не украла. Глаза, знаешь, у нее какие-то нехорошие...

Тут к ним подошла Дареджан из 3-го номера, держа только что купленные два батона. Узнав о чем речь, засомневалась:

— Не могла Роза обворовать! Это, скорее всего, наши местные наркоманы постарались. Роза — баптистка, чужой нитки не возьмет.

— Ах, она еще и баптистка! — у Додо и Тины загорелись глаза. — Это они, сектанты, баптисты-иеговисты борются с нашим Православием. Их Америка финансирует!

— Фонд Сороса и масоны!

— Смотри, какой эта Роза овечкой прикидывалась! Зачем, спрашивается, в церковь не пошла? Так нет, в секту полезла!

— Вовремя же ее посадили!

Додо заторопилась:

— Пойду соседям скажу. Вдруг у них тоже что-то пропало!

Как ни спорила с ними Дареджан, переубедить не смогла. Разошлись соседки, уверенные в своей неопровержимой правоте:

— От сектантов добра не жди! Они люди темные!

Если вам захочется в монастырь

(Из цикла «Любопытная Варвара»)

Весна 1997 года. Елена со слезами на глазах прочитала доставленное из рук в руки письмо и бросилась к красному углу, крестясь на Спас Нерукотворный.

— Благодарю Тебя, Господи, за утешение! — и только потом обернулась к Варваре: — Антонина из монастыря на побывку едет!

Варвара знала Антонину по рассказам. Дескать, была такая тбилисская девчонка, ходила вместе с Еленой в церковь Иоанна Богослова. В начале 90-х годов уехала в Москву поступать в институт, затем резко с первого курса ушла послушницей в Александровский монастырь. Провела там шесть или семь лет, и теперь она инокиня с каким-то мудреным именем из Римской эпохи. В общем, живая легенда в Варварином представлении. Вот бы познакомиться поближе!

В один прекрасный солнечный день Антонина появилась у Елены на даче.

Высокая, голубоглазая, с типичным русским лицом, одетая в простое темное платье до пят и подпоясанная широким ремнем, она показалась Варваре неземной красавицей.

— Ты классно выглядишь! — бухнула Варвара с порога, увидев долгожданную «легенду» за столом.

Антонина несказанно удивилась. А Елена, знакомя их, объяснила любознайке:

— Это просто монастырская благодать на ней. Там все матушки такие. Сейчас сиди тихо и не мешай вопросами. Антонина через неделю уезжает.

И инокиня продолжила прерванный рассказ о том, как ездила на богомолье в Саров, на Валаам, в Мурманск, называла местночтимых святых, рассказывала о послушаниях и еще многое другое, что так жаждала Елена, а для Варвары было занятной диковинкой.

— Неужели домой, в тепло не тянет? — не утерпела-таки Варвара. — От одного снега там у вас одуреть можно.

— Тянет, как нет! — простодушно отозвалась Антонина, перебирая четки. — Родина есть родина. Очень тоскую по фруктам и солнцу. Но я борюсь с унынием.

— Когда снова приедешь? — поинтересовалась Елена.

— У-у, нескоро. Я и сейчас неожиданно приехала. Меня после пострига позвала игуменья и сказала: «Езжай, повидай родню!». Это впервые за все годы. А может, и вообще не вернусь.

Каникулы Бонифация пролетели у Антонины как один день.

Перед отъездом пошли Антонина с Варварой побродить по базару. Шли через толпу, и Варвара то и дело ловила удивленно-уважительные взгляды прохожих, провожающих глазами статную фигуру Антонины.

— Странно, — удивлялась Варвара, зная специфику базара, — час уже ходим, а никто не пристал.

— А, — отмахнулась инокиня, занятая своими мыслями, — одежда на мне благословленная, вот и не цепляются.

Варвара с интересом оглядела ее простенькое платье, но так для себя ничего и не уяснила.

Не знали ни та, ни другая, что пройдет всего несколько часов, и скромное платье в незаметную крапинку перевернет жизнь молодой инокини ровно на 180 градусов...

В воскресенье Варвара с Элисо, груженные, как два ишака, мешками с хлебом, поднялись на гору к Елене и застали такую картину.

Елена, бросив на столе неубранную посуду, коленопреклоненная, плакала у красного угла и шептала:

— Вразуми их, Господи, настави на путь истины...

Обернувшись к вошедшим, она сказала несусветное:

— Девочки! Антонину украли!

— Как?! Кто?!

— ...В день отъезда к ней пришли попрощаться ее одноклассники, а среди них Тенгиз — ее первая любовь. Поднялся шум, кутерьма. Подруги неверующие заладили: «Да сними ты это убожество! Что ты как бабка старая?!» Антонина поддалась на уговоры, сняла платок, переделалась в мирское и... все. Подступил к ней лукавый. Тенгизу, видно, вступили в голову давно забытые чувства. Он тут же где-то достал машину, посадил в нее Антонину и увез к себе. Потом ночью она позвонила своим домой сказать: «Сдавайте билет, я остаюсь!» Что же она наделала! — и Елена горько заплакала. — Ей же никак нельзя замуж выходить. Обеты даны.

Элисо так и осела на грубо сколоченный табурет и захлопала глазами:

— Что ж теперь делать? Вот грех какой!

— Мне надо обязательно ее увидеть! — занервничала Елена. — И уговорить вернуться. Еще не поздно! Потом замолит. Игуменя уже знает, звонит в Тбилиси. Она в ужасе...

— Думает, небось, абрек на коне с кинжалом в зубах, — влезла Варвара не к месту, — увез ее монахиню в горы, да в сванской башне на цепь приковал. Позвоните человеку, успокойте, что дело тут любовное. Это не «украл», а «укралась» называется.

Елена не слушала раздражающую трескотню Варвары и продолжала свое:

— Побудьте с моей мамой, пока я в город спущусь и увижу Антонину. Ее спасти надо! Я себе места не нахожу. Вон, за ночь как поседела!

И правда: с ее лба свисала седая прядь, которой еще на днях не было.

Кто бы тут отказался подменить человека около болящей.

Посеревшая Елена вернулась под вечер с невеселыми новостями.

Нецерковная семья жениха, хоть и не в восторге от русской невесты, тем не менее, уважая выбор Тенгиза, вручила ей официальные подарки, причитающееся количество золотых колец и спешно готовится к свадьбе.

В церкви, узнав последние новости, все выражали единодушное осуждение.

— Как она могла?!

— Это все равно что Христа предать!

— Как посмел этот негодяй взять то, что принадлежит Богу?!

Что именно произошло в ту ночь с Антониной, реально сказать никто не мог. Может, ударила в голову старая любовь. Ведь Тенго за ней еще со школы ухаживал. Она столько лет была в монастыре, он знал это и почему-то не женился. И сама инокия вовсе не была безответственным человеком, чтобы вот так вдруг разом перечеркнуть свои клятвы. Так и осталось это решение неразрешимой загадкой для наблюдателей со стороны. Но уж точно учудила она такое не из-за теплого климата или обилия фруктов. Это можно было сказать наверняка.

Зато Варвара протестовала как могла. Вот уж полюшко для обличения и тренировки ораторских способностей, прямо-таки бескрайние просторы.

— Ну, не смогла она больше в монастыре! Там тяжело! Полюбил человек! Что же она — робот железобетонный, чтоб постоянно себе гайки завинчивать? Господь ведь само Милосердие!

И так далее очень эмоционально и не менее громко.

Естественно, трещотку никто всерьез не слушал. Все знают, какая из нее верующая. Так, соблазн ходячий и много шума из ничего. Варвара потому защищала с пеной у рта беглую инокиню, что хорошо представляла себя на ее месте. Сама, не успев освоиться в церкви, подумывала: «А что, если мне рвануть в послушницы...» Но раз побывав в Ольгинском монастыре, поняла, что это место не для нее. Да, тихо, хорошо, воздух какой-то особенный, но она бы тут и неделю не продержалась. И хорошо, что идея усохла на корню, а то так бы и ее все презирали.

И еще был настоящий шок у неумной Варвары. Даже любвеобильный отец Филарет отказался разговаривать с Антониной на исповеди, когда та к нему подходила спустя месяц после своего замужества.

Ну, а Варваре, конечно, больше всех надо, она и полезла за объяснениями.

— Как это так, отец Филарет, почему вы Антонину не принимаете? Ее же жалко. Что делать, ошибся человек. Типа того как неправильную специальность выбрал. С кем не бывает. У нее депрессия будет от такой дискриминации. Вы же сама любовь. Вы даже убийц принимаете.

Тут надо отметить, что про убийц Варвара не с потолка взяла. Был такой факт. Впрочем, это к повествованию не относится.

— Ты пойми, — объяснял ей батюшка терпеливо, — ну, не могу я ее принять. Я сам монах. Я ее когда вижу, мне очень плохо. Ты все равно этого не поймешь. Убийца — это совсем другое. Пусть идет к другому священнику, но только не ко мне. Не должна она была замуж выходить!

Долго отец Филарет этого мнения придерживался, потом все-таки оттаял. Допустил. Что причиной послужило, Варвара так и не выяснила, хотя и не очень-то копала.

Прошло два-три месяца.

Елена получила весточку от Антонины, где говорилось, что семейная жизнь не для нее, и она очень хочет вернуться в монастырь, несмотря на беременность.

Елена тут же развернула бурную деятельность: не жалея денег, звонила в Россию, обговаривала, как лучше доставить обратно заблудшую овцу.

Варвара скептически наблюдала всю эту суету, обильно сдобренную молитвами, и посмеивалась:

— Давайте спорить, что Антонина здесь останется. Зря только энергию тратите!

Чем доводила Елену до белого каления.

Вскоре из Троице-Сергиевой лавры с большими приключениями и пересадками приехал духовник Антонины — отец Димитрий, чтобы забрать свое чадо в родные пенаты.

Перед отъездом собрались участники этой истории решить вопрос: быть или не быть.

Тенгиз, узнав причину приезда отца Димитрия, очень удивился, а потом сказал:

— Я не держу тебя, Антонина. Хочешь, вернись в монастырь. Любовь невозможно ни купить, ни удержать силой. Я и не знал, что ты не имела права выходить замуж.

Антонина долго думала и... решила остаться. Увидев красноречивые лица потерпевшей стороны, Тенгиз церемонно обратился к несостоявшемуся похитителю его жены:

— Отец Димитрий! Мы приглашаем вас к нам на обед! Не обижайте нас отказом!

И тут же, перейдя на грузинский, стал торопить Антонину домой — готовить для гостя сациви.

Антонина возразила, что монах не будет есть мясо.

Но Тенгиз, по-прежнему избегая говорить по-русски, поставил точку в обсуждении меню:

— Я не разбираюсь в обычаях монахов, но знаю законы гостеприимства. Нельзя человека, который проехал из-за тебя 2000 километров, отпустить на голом «до свиданья». Наше дело накрыть стол. Тем более, что отец Димитрий в Грузии впервые...

Так что не вышло ничего с возвращением в монастырь.

Почему Антонина сама же намутила воду, а потом решила остаться, логически объяснить невозможно. Видно, была у нее какая-то особая причина оставаться с безработным мужем и знать наперед, что ничего хорошего не предвидится. Элементарно — деньги на хлеб будут или нет, и то под вопросом.

Жизнь продолжалась.

На Антонину было жалко смотреть, когда она с большим животом проходила по церкви, пряча глаза от давнишних знакомых. Варвара видела это и обличала в своей типичной манере Элисо, Елену и еще близстоящих.

— Нет у вас никакой любви! Одни ваши косые взгляды чего стоят! Бедная девчонка так может и к иеговистам двинуть!

Но, как показало время, ни в какие иеговисты Антонина не двинула, а продолжала с завидным упорством по возможности ходить на службы и выстаивать в притворе.

У-у, какие страсти тогда кипели! Как такое забудешь...

На Пасху 1998 года у Антонины родился сын. Через год — второй.

Увидела ее как-то Варвара на автобусной остановке и не узнала. Вроде те же голубые глаза, нос и улыбка. Но что-то неуловимо прекрасное исчезло. Не было больше той небесной красавицы. Перед Варварой стояла обыкновенная молодая симпатичная женщина, которых тысячи.

— Поздравляю тебя! — бросилась к ней Варвара. — Как здорово! Уже два сына!

— Эх, — безразлично отмахнулась молодая мама, — ты просто не знаешь, как мне тошно. У меня постоянная депрессия. Монастырь по ночам вижу... Настоящая жизнь была там, а здесь что... — и отвернулась.

— Тенгиз у тебя хороший, интеллигентный парень, — лезла Варвара со своими успокоениями.

— А дети! Это же такое счастье!

— Тенгиз — да, неплохой, — вяло согласилась Антонина, — любит меня и детей. С работой у него не ладится. Мы очень нуждаемся. Господь, видно, наказывает нас за мой грех. И от вторых родов все никак очухаться не могу. Очень тяжело было. Это мне так и надо.

— Да ладно тебе! — пихала ее в бок Варвара. — С родами это просто совпало так. И финансы тоже у всех поют романсы. Вся Грузия без работы ходит. Время такое. Ничего. Прорвемся!

Антонина только вздыхала.

— Не поймешь ты меня. Мне ничто не в радость. Туда тянет, — потом слегка улыбнулась: — Тенгиз из-за меня стал посты держать... Венчались мы с ним недавно в грузинской церкви. Эх, не то это все, не то...

— ...Может, вы, ну, того... не подходите друг к другу, — высказалась Варвара, напичканная Вериным «СПИД-инфо».

Антонина только посмотрела на нее долгим, тоскливым взглядом, каким обычно достаивают непроходимых тупиц, и выговорила, как точку поставила:

— Мне оно сто лет не нужно. Не до того. Э, все равно на разных языках говорим, тошно мне, очень тошно... Не могу описать.

Хотела Варвара ей для поднятия тонуса анекдот рассказать, да та и слушать не стала. По жизни, значит, человек без настроения. Но тут очередная блестящая идея пришла великой комбинаторше в светлую голову:

— Давай, я тебя с моей Верой познакомлю. Она прикольная типша. Посидим, поболтаем. Хоть немного развеселишься. А то тебе, наверное, и общаться не с кем. Верующие — тяжелые люди.

Антонина, поколебавшись, согласилась на предложенное культурное мероприятие.

Вера, маявшаяся от скуки у телевизора, обрадовалась Антонине с детьми, как новой развлекухе. Она уже была в курсе от Варвары про аутсайдера и, расставляя посуду на столе, стала метать искры справедливого гнева:

— ...С этими фанатиками не то что в разведку, на дискотеку в ТАУ¹ нельзя сходить. Ты, Антонина, не бери в голову их фортели. Если чего надо, я тут. Меня знаешь, как здесь, в убане², уважают, — Вера на секунду запнулась, но тут же нашла точное определение: — Ну, почти как вора в законе.

Антонина, ободренная неожиданным высоким покровительством, смущаясь, попросила:

— Мне б двадцать лар у кого-нибудь одолжить. За детский сад нечем платить в этом месяце.

Вера царственным жестом тут же выдала просимое, отмахиваясь от лишних благодарностей.

Короче говоря, хорошо посидели и расстались с приятным чувством открывающихся новых горизонтов дружбы и взаимопонимания.

Проводив Антонину с детьми, местный авторитет тут же перенес внимание на Варвару:

— Во, человек не теряется в этой жизни! На сколько младше тебя, а уже двоих имеет. А ты сидишь тут, мух ловишь. Часики-то тикают!

— Отстань, мне нужен христианский брак, — отрезала Варвара, уже понимая, куда подул знакомый ветер.

— Щас нарисуют тебе два сразу! — Веру всегда злило такое противостояние. Человеку от души добра хочешь, а он носом крутит. И начала с удвоенной энергией: — Мозги имела, давно бы от Нодара-гвардейца родила. Или от Алеко, моего соседа. Ничего бы от их жен бы не убыло. А я тебе хоть сейчас тыщу долларов на роды и все такое дам. И два года до сада содержать буду. Вон, экспериментируйте у меня, какие проблемы. Подруга я тебе или нет?

Но Варвара, продолжая крутить свою пластинку, уже возилась с собачкой замка. Надо было смываться.

— Ну и дура, — неся ей вслед давно поставленный диагноз. — Пожалеешь потом, да поздно будет.

Спор этот потомственные подруги вели давно, и всегда он оставлял тошнотворный осадок. Слова «участия», как ржавые гвозди, застревали у Варвары в мозгах. Потому и заявила горе-омбудсменша на другой день к Елене туча тучей, забыв сказать при входе «отрицаюсь от тебя, сатана».

Елена только глянула на нее, сразу за святой водой потянулась. Уточнила только:

— Опять в клоаку эту ходила?

— Я хотела Антонину развлечь, поддержку оказать, — неохотно пояснила Варвара, вытирая капли воды.

— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Чего вас обеих туда понесло, а?

Елена постучала легонько пальцем по лбу генератора идей.

— Газеты эти развратные читать, грехи новые набирать. Поди, церковь всё осуждали, две трещотки! — потом пообещала: — Погодите, будут вам обеим за это шишки.

Варвара не стерпела подобного прогноза и разоралась, забыв о всяких возрастных приличиях.

— Это какой еще шишкопад вы мне пророчите? Моя Вера со «СПИД-инфо», как вы говорите, Антонине уважение сделала, стол накрыла, деньги дала! А вы, с понтом «сестры во Христе», даже и не знаете, как эта бедняга прожила этот год! Ах, жалость какая, вы не видели, как ее мальчишки пережаренные пирожки наворачивали! Что так смотрите? Не знаете, что они голодают?! Ее муж, в лучшем случае, в день три лара делает — на базробе³ железяки какие-то продает.

— Я молюсь за нее, — Елена заговорила тихо, не реагируя на обидные слова. — Значит, такая у нее епитимья от Господа. Никто не гнал ее из монастыря. Я предупреждала, что ничего хорошего ее в этом замужестве не ждет. Пусть терпит и кается. Не бойся, не умрут ее дети голодной смертью...

Как уж там Антонина каялась и какие искушения очистительные претерпевала, Варвара сказать не могла. Покаяние — не картошка, на весы не положишь и пальцем не поковыряешь. Только со временем выводы можно делать.

Шишки, обещанные Еленой, посыпались довольно скоро, причем перекрыли путь в Верины апартаменты нерушимой стеной.

Через месяц Варваре пришлось отвечать на риторический вопрос:

— Где мои двадцать лар, что твоя верующая курица утянула?

— Ну, в ауте она сейчас, — засуетилась поручительница. — Отдаст, куда денется. Ну, хочешь, я тебе по кускам соберу и за нее отдам?

На Веру, видимо, в тот день темные силы психоатаку сделали, она и понесла на возрастающей ноте:

— Мне твои позорные копейки не нужны. Меня сам принцип бесит. За базар твоя монахиня не отвечает. А мужа зачем возле себя держит?

И пошла грязью поливать все, что было Варваре дорого и близко — от священников до икон.

В итоге так обе сцепились, расплевались, что надолго потом прервали все дипотношения.

Только через полгода Антонина с большим трудом вернула злосчастный долг. Но имидж был подпорчен навеки. А местная акула капитализма занесла ее в свой мысленный черный список.

Через какое-то время позвонила Антонина Варваре и со слезами в голосе попросила:

— Очень прошу, скажи своему Биллу Гейтсу: нам позарез пятьсот лар нужны. На факте газовики поймали, мы счетчик откручивали. Штраф выписали. Зима! Они же трубу отрежут! Мы потом понемногу отдадим.

Варвара всей душой сочувствовала такому аховому положению и ругала газовиков: вот, мол, моду взяли, с коррупцией таким образом бороться: в самый холод, не успеешь заплатить, трубу резать. И никому и дела нет, что у Антонины трое детей задубеют. Но звонить отказалась. Потому как бессмысленно.

Еще время прошло. Распространилась новость: Антонина четвертого родила. Патриарх крестил, как и обещал, что будет крестить каждого третьего и последующего ребенка в венчанной семье.

Потом опять звонок и плач в трубку:

— Умоляю, скажи Вере, деньги на операцию ребенку нужны, каждый день на счету, — это как Антонину приперло, что на свою гордость наступила, помня старый отказ. Вера для нее была чем-то вроде последней двери, куда еще можно было постучаться. — Взять неоткуда. Ходили в аптеку Аверс-, они в рекламе трепятся, что многодетным помогают. Отказались: помощь, мол, только после пятого...

Звонить, просьбы передавать — пустое дело. Тут не то что Вера, но и некоторое прихожанки высказывались нелестно: «Зачем рожала такую кучу, когда на хлеб денег нет? Сидела бы в своем монастыре на всем готовом, и не было бы никаких проблем».

Все-таки заикнулась Варвара вышеуказанному олигарху про Антонинино горе, ответ был парадоксальный:

— Я сама мать-одиночка. Сейчас каждый сам за себя. Отвалите от меня. Тебе понадобится — дам, а ей нет. Вот такой у меня хош. Мое дело.

Странно устроен человек. Тут с себя рубашку снимет, а за углом «не вижу» сделает. Никакой математической схеме не подчиняется. Хотя, чему удивляться. Варвара точно такая же, комок противоречий.

Кое-как и дело с операцией уладилось. Бесплатный летописец не вникал, но по стилю тоже, наверное, что-то чудесно-промыслительное. Тут надобно пояснить, что виделись они крайне редко, так как совершенно в разных концах города живут. Главное, выжил ребенок.

Встретились однажды в церкви. У Антонины опять тоска в глазах:

— Дом пришлось за долги продать. Сейчас у родителей Тенго живем. Что-то неопишное. Уборщицей работаю, но это все равно капля в море. Прости меня, если что, — и ходу от любопытной к аналою, приложиться к иконе.

Варвара по-своему расшифровала недосказанное. У китайцев есть такой иероглиф, в виде двух женщин под одной крышей. «Большая неприятность» называется. А тут, видно, круче будет, кроме свекрови, там еще две золовки

незамужние в тесноте крутятся. Так это неприятность в энной степени вырисовывается, никак не меньше. Вопрос к читателю: где нервы купить?

Все искушения и страдания бывшей инокини как описать, Варвара лишь самую малость углядела. Но и то увиденное впечатляло.

Варвара смотрела вслед Антонине с выводком и думала:

— Вот человек, живет, кается, как может, с мужем не разводится, четверых растит (в Грузии без льгот и пособий — это особый подвиг). «Спаси ее, Господи, и меня ее святыми молитвами!»

В 2013 году Варвара узнала хорошую новость. Елена записала на Антонину свою дачу на горе. А еще болтают, будто мэрия туда асфальтовую дорогу сделает и воду проведет. Не придется Антонининым детям дождевую воду с крыши пить, как когда-то Елене с козами. Чем вам не свет в конце туннеля...

— —

¹ Тбилисское артиллерийское училище, которое закрыли после 90-х годов.

² Район (гр.)

³ Базар (гр.)

Конфессий острые углы

«Ибо нет лицепрятия у Бога»

Рим. Гл. 2,11

«Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ним»

Мат. Гл.7,12

Сказ первый. Про иудея

Еще Варвару неразумную сильно обилие вер смущает. Все веры говорят, что Бог один и любовь друг к другу самое главное, но попутно везде свои можно/нельзя, как стенки непробиваемые, установлены.

Вот из-за этих самых стенок и вышло меж двух неофитов целое сражение.

1993 г. У Варвары, несмотря на тяжелые девяностые годы, было веселое студенчество и своя компания. Ходили вместе в кино, в театр, обсуждали прочитанное, иногда грешили спиритизмом (кто не пробовал, лучше не начинать, поверьте, ничего особенного, дурь и грех).

И вдруг среди такого мирного жития случился для всех шок. Самуил — всеобщий любимец и убежденный атеист — обратился к вере отцов. То бишь ударился в иудаизм со всеми ветхозаветными вывертами: хранение субботы, вкушение кошерной пищи и прочая, прочая.

Общий состав скептиков подшучивал: «Ох, быть тебе, Самуильчик, раввином Израиля!» (А слово, как известно, штука малоизученная, иногда может и в жизнь претвориться.) Самуил только вежливо улыбался.

Варвара тем временем тоже верой предков заинтересовалась, воцерковилась и духовными сестрами обзавелась. Читая одолженные «Жития святых», поражалась: «Как я жила без этого раньше? Красота-то какая!» И захлеб рассказывала все прочитанное своим подругам. Подруги лениво внимали трескотне, а когда очень уж надоедало, тормозили: «Ой, хватит, завелась! Смотри, в монастырь не рвани!»

Елена, узнав о существовании верующего иудея в Варваринем окружении, забила тревогу на правах духовной руководительницы.

— Не вздумай спорить с ним о вере! И вообще, вам лучше не общаться. Для тебя сейчас это духовно вредно.

— А что будет? — недоверчиво скривилась Варвара, как раз жаждущая обратного.

— У тебя вера только-только зародилась. Она еще очень слабая. Он может растоптать этот росточек. Да, и еще, не ешь мацы, если будет предлагать!

Варвара усмехнулась. Представить добрейшего Самуила в роли похитителя христианских младенцев и выкачивающего из них кровь (что-то такое кажется болтали бабки в церкви) — это уж слишком!

Неизбежное столкновение конфессий произошло на Варвариной территории.

Трапеза была своеобразная. Хлеб и копченая рыба красовались на газетах (от тарелок Самуил отказался — некошерные, а своих, одноразовых, у него с собой не было).

Предварительно он торжественно совершил троекратное омовение рук на Варвариной кухне. Затем приступил к чтению молитвы на древнееврейском над хлебом отдельно, над рыбой отдельно. Ритуал длился добрых 10 минут. Варвара терпеливо лицезрела все происходящее, не дерзая прерывать молитву. Потом решила сравнять счет, полагая, что церковнославянский не хуже иврита. Взяла и прочитала «Отче наш» и «Богородицу», осеняя все крестным знамением (как ее учила Елена).

Уравновешенного, выдержанного Самуила будто муха цеце укусила.

— Что ты делаешь?! — взвился он, сверкая глазами. — Это типичное идолопоклонство! И вообще, Он не был Сыном Божьим!

— А как же, — с жаром запротестовала Варвара, — написано: «Се, дева во чреве примет...»

— Во-первых, кто дал вам право толковать Тору?! — гремел он. — Во-вторых, с чего вы взяли, что там именно это подразумевалось? В-третьих...

Его обличительная речь напоминала огнедышащую лаву. Досталось всем, и апостолам, и Божьей Матери, и всему христианскому миру в целом.

Все Варварины жалкие аргументы натыкались на несокрушимый монолит:

— У нас каждая буква имеет свое значение и цифровой код. Кроме того, существует 7 уровней понимания Торы. О каких переводах может вообще идти речь?!

Короче говоря, в конце этого разгрома у Варвары было ощущение обкраденности. Красота Православия, разбомбленная Самуилом, превратилась в какую-то мракобесную лужицу.

Елене потом стоило огромного труда разгрести ту жуткую мешанину, которая осталась в голове у Варвары после теософского диспута.

— Все твое непослушание! — выговаривала ей Елена. — Говорила я тебе: «Лучше не общайся!» И батюшка тебе то же самое скажет!

Общаться два неопита все-таки продолжали. Дружба есть дружба.

Самуил стал дневать и ночевать в еврейской гуманитарной организации. Общие друзья сочувствовали от души:

— Каждый день видеть рожи маразматиков! Как это скучно!

Самуил быстро перекрыл поток соболезнований, сказав безо всякой рисовки:

— Я служу моему народу, как могу.

Кто-то подал умную идею:

— Хоть килограмм сахара вынеси с твоей работы!

В ответ все услышали негромкое, но веское:

— Я не стал бы воровать даже у вас! Тем более не буду этого делать у своих! Господь мне и так дает все, что нужно.

Желание шутить и советовать у всех как-то само собой пропало.

Стычек между новоиспеченными верующими больше не было. Он, избегая любого празднословия, говорил о своей вере только, когда его спрашивали. И давал исчерпывающий ответ буквально на физико-молекулярном уровне: почему надо хранить субботу и избегать всякой работы, что происходит с организмом человека, принимающего некошерную пищу, и многое другое.

Варвара тоже к тому времени уразумела, что проповедовать свою веру вовсе не обязательно, вполне достаточно жить в ней без лишней шумихи.

Самуил совершенно серьезно ждал обещанного Машиаха, скорбя о своих неверующих собратях:

— Если бы евреи всего мира хранили субботу, Машиах пришел бы завтра.

— Хорошо, что у вас много неверующих, — радовалась Варвара, боясь пришествия антихриста.

Потом ее осенила неожиданная мысль:

— Слышь, потомок царя Давида, быть таким ярко выраженным верующим небезопасно. Вдруг начнутся гонения на евреев? Если что, я тебя спрячу!

Самуил только улыбнулся:

— Я это учту... Быть евреем не каждому дано, и надо жить достойно, не отрекаться. Я, кстати, и правда его потомок. Положение обязывает... Думаю,

мне не придется у тебя прятаться. Грузия — единственная страна, где никогда не было еврейских погромов. Надеюсь, и не будет.

Общие друзья, слушая подобные диалоги, многозначительно переглядывались: у обоих, мол, крыша едет на почве религии.

Жизнь постепенно разводила Варвару и Самуила все дальше и дальше друг от друга.

Как-то они встретились перед зданием ОВИРа.

— Я уезжаю в Иерусалим через два дня, — говорит Самуил, — буду учиться в религиозной школе. Это воля Божья.

— С чего ты взял?

— Знаешь, какие они взяточники, — кивок в сторону ОВИРа, — со всех берут дикие деньги, а с меня лишней копейки не взяли.

Потом вдруг спросил:

— А ты довольна своей жизнью?

— В общем-то, да, — ответила Варвара, осознавая, что мало чем может похвастаться в земных успехах. — А ты доволен тем, чем занимаешься?

— Я для этого родился, — Самуил улыбнулся, смущенно теребя бороду. — Мне всегда чего-то не хватало. Теперь оно у меня есть.

— Я ощущаю нечто похожее, — говорит Варвара.

— Рад за тебя. Я думаю, что к истине ведут разные пути.

Слышать это от человека в кипе, носящего цицит (кисти из шерстяных нитей, одеваемые под верхнюю одежду) и имеющего шагомер (в субботу ему можно делать только определенное число шагов), было странно и в то же время приятно.

Консенсус — великое дело.

Варвара неугомонная, довольная консенсусом, тут же решила рискнуть:

— Может, поставишь за меня свечку у Гроба Господня? Я ведь туда никогда не попаду.

Самуил только вздохнул, отводя округлые глаза в сторону.

— Ты же знаешь, мне туда нельзя. Я вспомню о тебе у Стены Плача.

Прощаясь, он не подал руки. Только поклонился. Варвара не обиделась, знала, что по его вере мужчина и женщина, не связанные узами брака, не должны касаться друг друга. Ох, уж эти табу!

Спустя несколько лет Самуил и в самом деле стал раввином. Только не в Израиле, а в другой стране.

Зная его душевные качества, Варвара думает, что его паства не пожалеет о своем выборе. (Ведь раввин, как и мулла, должность выборная).

А еще в глубины души у Варвары теплится надежда: может, свершится чудо, и Самуил поймет, что долгожданный Мессия уже давно пришел. Потому, иногда вспоминая о друге-раввине, шепчет: «Спаси его, Господи! Он хороший! Подари ему ту же радость, которую мне подарил!»

Сказ второй. Про агарян, террористами нареченных

2002 г. Совершенно случайно, по ходу своей бродячей работы Варвара попала к чеченцам. Вот уж был простор, где любопытству разгуляться. Варвара то и дело задавала свои бесконечные вопросы, с интересом наблюдала за экзотическим мусульманским бытом (не нравилось одно — необходимость разуваться при входе в ту или иную квартиру) и для общего развития учила обиходные чеченские слова. Ее лингвистические занятия вызвали встречный вопрос:

— Не хочешь ислам принять?

— Да нет.

— Почему? У нас вера хорошая.

— Я же вам не предлагаю христианство принимать. Знаю, что у вас с ним плохие ассоциации.

— Конечно, не примем. Хотя раньше наши предки были христиане.

(Проповедовать им что-либо она и не пыталась. Во-первых, куда такой грешнице проповедовать. Во-вторых, знала, что на непрошенную рекламу зададут вопрос:

— Если вера ваша такая хорошая, чего вы так дурно живете?

И перечислят по пунктам язвы христианского общества. Крыть будет нечем).

Общаться с чеченками было на удивление легко и просто. «Они совсем не страшные», — думала Варвара, вспоминая русские фильмы о чеченской

войне. Говорили о разном: о политике, о воспитании детей, вызывавшем Варварино восхищение, и, конечно, о религии.

Вот сидят, значит, они втроем — Седа, Яха и Варвара — и беседуют. (Седа рыжая, Яха блондинка. Обе голубоглазые, белокожие. Обе замужем, с высшим образованием, в Грузии находятся 5-6 лет. Седа, несмотря на жару, в длинном закрытом платье до пят, Яха в юбке средней длины и футболке).

— Угощайтесь! — и Седа подвигает Варваре печенье.

— У нас пост сейчас.

— А-а, — сразу же с пониманием отступается, но ищет альтернативу: — А что можно?

Услышав перечисление, обе смеются.

— Да разве это пост? Никакого мучения для тела. Вот у нас другое дело. До захода солнца даже воды пить нельзя.

Седа тем временем вытаскивает мед:

— Уж от этого вы не откажетесь.

Яха протягивает сбоку книжку:

— Смотрите, что я достала! Коран на грузинском, — и листает страницы с арабской вязью и грузинским текстом. — Он для аджарцев и абхазов издан.

— Наверно, трудно научиться читать? — таращится Варвара на загогулины.

— Очень легко. Вот Седа каждый день читает.

— А вы?

— Эта сволочь даже не молится каждый день, — обличительное пояснение от Седы. — Бужу я ее в 6 утра на намаз, а ей встать лень. И как не боится умереть? Интересно, что ты там скажешь, бессовестная?

— Я надеюсь на Аллаха милосердного, — увертывается Яха.

— Ты ведь не она! — Седа кивает в Варварину сторону, скользя укоризненным взглядом по ее джинсам. — Тебе это так с рук не сойдет!

— А почему? — встrepенулась Варвара, удивленная теологической дискриминацией.

— Вы... вы другое дело, — просвещает Яха. — Вы в нашем понимании заблудшие. И вас надо жалеть. И нельзя обижать.

(Лично для Варвары это было открытием).

— Но вся история человечества этому противоречит.

— Вы еще крестовые походы вспомните! — подмигивает Яха. — Лучше не вдаваться ни в историю, ни в политику.

Нам в Грозном по ваххабитскому каналу объясняли, что если в этой жизни у христианина что-то отнять, то на том свете он это не простит, и Аллах из-за его обиды нас в рай не пустит.

— Не переживайте! Нам, чтобы в рай попасть, надо самим всем все простить. Так что можете делать что хотите.

— Как раз нельзя «что хотите»! — подхватывает Седа. — Я своим детям объясняю, что Бог все видит и может наказать. У Него любимчиков нет.

— А дети как воспринимают?

— Слушаются. Они же у меня все законные.

— При чем тут это? — не поняла Варвара.

— У нас незаконнорожденным считается ребенок тогда, если его отец перед тем, как его зачать, выпил вино или согрешил с какой-то женщиной.

— Это никто не узнает.

— Люди узнают это, когда ребенок вырастет и не будет слушать своих родителей. Это первый признак. А когда таких непослушных детей будет много, настанет конец света. Поэтому у нас мужья стараются хранить верность своим женам.

Тут Седа взглянула на часы:

— Извините, время молитвы.

Через 15 минут она вышла из другой комнаты, снимая платок и возвращаясь к разговору.

— Интересно, — поинтересовалась скептик Варвара, вспоминая длительные молитвы Елены, — а толк от всего этого есть?

— Есть. Когда что-то от души прошу — получаю.

— Ну и у нас найдутся люди, которые скажут то же самое. Есть ли у вас доказательства, что ваша вера истинная? У нас, например, Благодатный Огонь на Пасху с неба сходит. Слышали такое?

— Да, по телевизору видели, — без особой реакции отзываются оппонентки и миролюбиво заключают: — Все бывает.

— Знаете, — Яха солнечно улыбается, — мы надеемся, что мы на истинном пути. Я где-то читала, что, когда настанет конец света, пошлет Аллах белых верблюдов на все кладбища мира, чтобы собрать праведников из всех народов. Человек, если он честно жил, своей награды не потеряет.

Варваре пора было закругляться с визитом.

— Дельрисхил, — блеснула она зазубренным словом, что в переводе значит «Пусть Бог будет вами доволен».

— На здоровье! — их смешит топорное произношение. Но в их смехе нет насмешки. Яха тут же среагировала: — Ой, а как надо сказать это на грузинском? Скажите несколько раз — я запомню...

Уходила Варвара в восторженном настроении. «Спаси их, Господи, — твердила она про себя, — за эту чашку чая! Как они правильно мыслят! Спаси, Господи, всех добрых людей, где бы они ни были, по великому милосердию Твоему!»

Сестры во Христе очень не одобряли хождение «к татарве», высказываясь так:

— Ты доиграешься! Они тебе голову отрежут или в гарем затянут!

— Гнать их надо отсюда! Из-за них у нас отношения с Россией плохие!

— Они нашу молодежь развращают — наркотиками торгуют! А ты с ними чаи распиваешь! Вот скажи это на исповеди!..

Хорошо, что священники мудрее прихожан. Выслушав про Варварино чаепитие, о. Павел удивил своей толерантностью:

— Какие они молодцы, что аборт не делают!

Сказ третий. Про людей Божьих, веру православную зорко хранящих

Самая животрепещущая тема сейчас — пришествие антихриста. Поэтому часто слышит Варвара новые и новые версии.

2000 г. Лика появилась на даче у Елены с ворохом церковных новостей. Начала с главного:

— Не сегодня-завтра антихрист придет. Это абсолютно точно. Уже стены храма Соломона строят. Во-от такой вышины! Миша сказал.

— А что у Миши — личная агентура в Израиле? — Варваре стало смешно от такой точности. — Если стройка начнется, мы по телевизору узнаем. Это будет событие века.

Елена слушала, затаив дыхание:

— Просто так люди верующие не скажут.

— Я у Самуила спрошу, — пообещала Варвара, — узнаю из первых рук, что творится.

Самуил, услышав вопрос, сразу сообразил, откуда ветер дует.

— Опять у вас в церкви паника? Скажи им: мечеть Омара пока стоит на месте. Никакой стройки нет. Спите спокойно...

Подобное случается часто. О всех казусах писать — бумаги не хватит.

Вторая всегда актуальная тема — взаимоотношения между конфессиями.

После проповеди молодой священник обратился к пастве со следующим заявлением:

— Дорогие братья и сестры! Предупреждаю! Если увижу в записках неканонические имена, типа Жанна, Ашот и т.д. — читать не буду! Не обижайтесь!

У многих слушателей «в зобу дыханье сперло». Всегда писали, а тут на тебе — нельзя.

— Братья и сестры! — неслось тем временем с амвона. — Поймите! Подавая такие записки, вы толкаете меня на каноническое преступление. Я сам по национальности армянин, но счастлив тем, что я православный, а не григорианин-монофизит. Вы должны понимать, что эта церковь впала в пагубную ересь и тем самым отпала от всемирного Православия... И молиться о них нельзя!

После службы самые ретивые прихожане настигли о. Филарета с претензиями: как, мол, это так, св. Иоанн Кронштадтский за всех молился, а тут, понимаешь, «каноническое преступление» выискалось?!

Отец Филарет, всегда принимавший записки с любыми именами, огорошил их еще больше:

— А вы его не судите. Я сам такой же горячий был. По молодости бывает...

Дескать, пусть будет пока так.

Неудовольствие вопрошавших как-то само собой угасло.

В своем мнении молодой священник далеко не одинок, и потому говорит Аракси Варваре звенящим от обиды голосом:

— Да куда же это годится?! Захожу я в грузинскую церковь, люди как раз к кресту подходят. Подошла и я. Священник, увидев меня, крест убрал: «Армянам нельзя к нему прикладываться!» Да что мы, прокаженные?! Сколько у нас мучеников за Христа было! Один геноцид 1915 года чего стоит!.. А в церковь хоть русскую, хоть грузинскую зайдешь — прямо прохода не дают: «Вы монофизиты!», кричат, — и, порывшись в сумочке, дрожащей рукой достает бумагу. — Вот что нам в армянской церкви раздали, чтоб мы всегда при себе имели и людям показывали. Наша церковь официально осуждает эту ересь, как и ваша!

Да. Мы крестимся слева направо! Ну и что? Чуть не съели меня эти бабки оголтелые, когда я в церковь входила. Пошла я тогда специально к отцу Филарету. Он один меня утешил. Вот он совсем другой! Как он всех любит. Ушла я от него другим человеком.

Прихожане обычно все люди духовно грамотные, начитанные, и многих страсть проповедования распирает. Любимая тема — истинность Православия. Тут только слушать и слушать.

— Все они — католики, мусульмане, буддисты, григориане — в ад идут. Я точно знаю. Я читала, — разрывается одна.

— Да, да, как хулители Духа Святого, — вторит ей другая. — Не забудьте масонов.

— И сектанты, раскольники! — вставляют сбоку.

— Ибо сказано... — скрипит кто-то у них за спиной, — некрещеные младенцы...

Варвара слушает их и удивляется про себя: «Легко же вы людей в ад посылаете!»

Во всем этом никогда не принимает участия Евгения, младшая сестра отца Гавриила (Ургебадзе).

— А что ваш брат говорил по этому поводу? — подсела к ней Варвара.

— Эх, деточка, — улыбается она, — мой брат в таких случаях говорил: «В Евангелии написано: «Люби ближнего как самого себя». А копать кто мусульманин, кто еврей — не нашего ума дело. Это Господь рассудит, кого куда поместить на том свете. Как же мне говорить о других, когда я не знаю, куда сама попаду...»

Сказ четвертый, он же последний

Слова молодого священника долго не выходили у Варвары из головы.

С ним, конечно, спорить трудно. Человек семинарию кончал, все каноны знает. Кроме него знатоков догматов и так хватает. Всех не переспоришь.

Тут как раз получила одно знаменательное письмо, все на ту же тему. Вот оно.

«Здравствуй! Когда я ходил на курсы, ведущий (человек очень эрудированный и окончивший семинарию) говорил по поводу других конфессий и религий нечто подобное, что и ты, т. е. без злобы и агрессии, и предупреждал об этом слушателей. В этом же духе пишут и Гарегин I, и митрополит Сурожский Антоний. Как раз недавно у последнего прочел, что за Православие не бороться надо, а быть Православием.

Тем не менее (хоть у нас и редко) бывают разные случаи, например, в одном маленьком российском городке батюшка отказался отпевать пожилую армянку, хотя в этом городе армянской церкви не было. И еще один случай, мне его рассказал наш дьякон. Как-то в нашу церковь позвонила русская женщина, православная, работница одной из городских больниц. В больницу поступил армянин, бездомный, одинокий человек, очень неухоженный, в ранах, в тяжелом состоянии. Она попросила оказать ему помощь. Дьякон пошел, они вдвоем его обмыли, одели, в общем, как смогли, ему помогли. Но поскольку он был в очень запущенном состоянии, ему необходим был

постоянный уход. Эта женщина позвонила в один православный приют, ей отказали. Тогда она попробовала обратиться в католическое заведение. Там с радостью его приняли.

Через какое-то время наш дьякон его навестил и был изумлен, как за ним смотрели: его выходили, окружили теплом и любовью. Спустя некоторое время этот человек умер. И вот, представители трех конфессий – православная женщина, католические монахини и дьякон Армянской Церкви вместе молились у тела усопшего каждый на своем языке, так они встретились в молитве.

Затем католики его похоронили и все сделали как должно по христианскому обычаю.

Вот такая история.

Целую, твой брат во Христе».

Интересно стало любопытной, были ли в истории Православия люди, не считая особо чтимого Варварой св. Иоанна Кронштадтского, которые не лимитировали свою любовь догмами?

Не сразу, но выяснилось, что были.

Священномученик Григол (Перадзе), затравленный в концлагере собаками, взял чужую вину на себя, чтобы спасти еврея.

Схиархимандрит Виталий (Сидоренко) молился за целые страны, такие, как Лаос и Камбоджа, Чили и Вьетнам, не задумываясь о конфессиональной принадлежности живущих там.

Владыка Стефан (Никитин), он умер в начале шестидесятых годов XX века — совершенно святой человек. Фотографии сохранили его необыкновенное радостное-радостное лицо. Он и сидел за веру. После войны, в 1950-х годах, его отправили в Таджикистан. На службы к нему приходили в основном мусульмане, и он молился за Ибрагимов, Абдурахманов. Приносили записочки, и он поминал мусульман, а те его очень любили. И ему было очень дорого, что его звали поп-мулла.

В процессе поисков Варвара обнаружила для себя слова святителя Филарета Московского: «Вера с любовью — вера христианская, а вера без любви — вера демонская». Что к этому прибавить?

Проблемное приданое

Старайтесь дойти до младенческой простоты в обращении с людьми и в молитве к Богу. Простота — величайшее благо и достоинство человека, Бог совершенно прост, потому что совершенно благ. И твоя душа пусть не двоится на добро и зло. В простых сердцах почивает Дух Божий (Схиигумен Савва).

— Я вчера так орала на нее, соседи, наверное, решили, что надо срочно патруль¹ вызывать, — рассказывала Нанули, судорожно стискивая кулаки от бессилия.

Она зашла к Шалвовне на часок, излить душу за утренним чаем. Зоб у нее прямо ходуном ходил от вчерашнего стресса. Сколько лет бедняга щитовидкой маялась, а денег на операцию наскрести не могла.

Шалвовна, ее старая подруга еще с рабочего общежития, мыла в это время посуду, стоя к рассказчице спиной. Варвара ела яичницу и наблюдала за своими старыми мастершами, сидя на крошечной табуретке. Кто-то несведущий мог бы расценить такое отношение как явное бескультурье, но так как хозяйка и гости знали друг друга очень давно, то давно уже не обращали внимания на подобные нюансы: Нана знала, что ее внимательно слушают, давая возможность выговориться.

— Я ей говорю: «Тазик поставь куда-нибудь!» Эта ишачка возьми и на горячую плиту его брякни. Пластик по решетке и стал плавиться. Вонь жуткая... А я в это время в ванной, в стиралке белье прокручивала. Не поняла сразу, что случилось. Выбежала, смотрю: вся плита в зеленой пене! Кричу ей: «Карина! И кто ж тебе аттестат зрелости при коммунистах выдал?! В 35 лет — ума нет, значит, уже и не будет!..».

— Нан, — шум воды в кране затих, и Светлана Шалвовна повернулась к страдальце лицом. — Ты же знаешь Карину. Не принимай близко к сердцу. Оставь как есть. Это клиника...

Такой миролюбивый комментарий вызвал только новый взрыв эмоций.

— Светлана, я без тебя знаю, что это непробиваемое УО со справкой. Но за что мне такое счастье?! А?..

Карина Алоева в качестве «неописуемого счастья» не нужна была никому. Даже собственной матери, сдавшей ее в Цхнетский детдом в самом розовом

детстве, однако предварительно не забыв вписать дочь в ордер на квартиру для увеличения жилплощади.

Из одного детдома Карина в свое время перекочевала в ПТУ на Трикотажку, где и работали мастерами производственного обучения две подруги — Нанули и Светлана. То, что Алоева вытворяла в училище, то давно быльем поросло и еще как-то с натугой могло быть списано на неустойчивую психику подростка. Выпустившись в рабочие и обосновавшись во взрослом общежитии, Карина как-то, в 1991 году, завалилась к Нанули в гости и... осталась надолго.

Варвара знала всю предысторию утренних бурных эмоций и поэтому сидела молча, напротив Нанули-мас², как она по привычке называла ее еще с училища, и слушала про очередную серию «подвигов» приживалки, пытаясь разобраться в своих мыслях.

— А позавчера что она мне устроила?! Сидит Годердзи, мой муж, телевизор смотрит. «Курьер»³ как раз идет. Вдруг Карина как подскочит с места и давай по кнопкам клацать. Годердзи матюкается: «Оставь мой Курьер на месте!». Карина его в ответ последними словами кроет и еще в драку с ним лезет: «Ты кто здесь такой?!» — визжит. Ей, представляешь, индийское кино вдруг захотелось. Крик, шум на весь корпус. Я вокруг бегаю, разнимаю. Годердзи выпивший, красный, как этот чайник, на меня орет: «Нормальные бабы приданое с собой приносят. А у тебя вместо приданого — Карина недоделанная!».

На вид Карина — неказистый темнокожий пацан в вечно обвислых джинсах и клетчатой рубашке. Ростом до полутора метров не дотягивает, зато неординарного в ней — немеряно.

Ехали как-то все вместе на метро к кому-то в гости. Чуть со стыда не сгорели. Увидела Карина какого-то в дым пьяного мужика и бегом к нему, людей расталкивает, будто брата родного встретила. Ему плечо подставила, потащила к скамейке, да еще других с мест согнала, чтоб жертве бутылки комфорт создать.

Или бывает иногда так. У Карины что-то, видно, замыкает внутри, и она к незнакомым девчонкам клеиться начинает. Те, естественно, шарахаются от нее.

«Интересно, как такой перекосяк в психике называется», — напрягала Варвара свои не слишком разветвленные извилины. Только жаль, уточнить не у кого.

Нанули с Шалвовной в таких тонкостях не разбираются. Просто принимают Карину как стихийное бедствие, без рассуждений.

«Итак, что мы имеем», — анализировала Варвара хиленькую базу данных, попивая остывший чай и поглядывая на Нанули.

Глава семьи: Годердзи — чабан. В Тбилиси бывает наездами, этак раз в месяц, а то и реже. В остальное время, опершись на палку, стоит — наблюдает своих парнокопытных на высокогорном пастбище в Душети. Про таких говорят: когда своих баранов будешь считать, себя не забудь для ровного счета. Высшим образованием и прочими интеллигентными штучками мозги не загружены. Тем не менее почему-то терпит у себя дома такой чемодан без ручки, как Карина.

Его супруга Нанули, в прошлом прядильщица пятого разряда, после рождения детей стала мастером в ПТУ, чтоб не выходить в ночные смены. Внешность у нее соответствующая, прямо скажем, не балетного телосложения. Про таких говорят: «ломовая лошадь». Вся жизнь ее — постоянное беличье колесо: готовка/стирка/уборка за четырьмя детьми, и плюс еще работа без выходных: то на базробе⁴, то чужие паркетки драит.

Дети Нанули и Годердзи: Имеда, Натела, Саломе и Демури по нисходящей с разницей в 2-3 года, пока только кутерьму создают, помощи от них ожидать не приходится. А такой быт, как у Нанули, никак не располагает к размышлениям о высоких идеалах и ценностях, это попросту борьба за выживание.

Впрочем, все семейство о существовании подобных вещей даже и не догадывалось. К религии отношение было таким: все крещеные, время от времени заходят в церковь поставить свечи и выйти с чувством выполненного долга: вот и все, а что еще надо?

Да, еще маленькое дополнение к «семейному портрету в интерьере»: в их трехкомнатной с минимумом мебели квартире обитала еще семья брата Нанули с тремя детьми — беженцы из Абхазии. Который год уже они живут у Нанули, все никак с отдельным жильем у них не получается. Ну, дали им комнатку в гостинице «Иверия», а там потолок обвалился. Власти говорят: «Сами что-нибудь придумайте». Вот и перекочевали они к Нанули. Знают, что не выгонит. В общем, спокойствия и мира «непрощенные гости» тоже не прибавляли своим присутствием.

И, как венец всему, главный нервосъемщик — Карина Алоева, просто приживалка.

Только надписи не хватает: «Нервных просят не смотреть!».

— В итоге чесотку ты залечила или нет? — спросила в этот момент Шалвовна, нарушая стройный ход Варвариных мыслей.

— Ой, не спрашивай, Света, — нахмурилась Нанули. — Все, что от Карины приходит, очень долго потом не уходит. В позапрошлом месяце только вшей у детей вывела, в этом месяце — хлоп — чесотку нам в «дар» принесла. Уж такая неряха. И где она это цепляет, непонятно. Тем более, что моя Нунука за Кариной хвостом ходит. А Карина ее все на руках таскает, — Нанули поднялась и стала убирать за собой посуду со стола.

— Новый анекдот расскажу. На базробе, где я туфли продаю, Карина целую легенду сплела. Витом⁵ у нее муж был, которого на абхазской войне убили, а Нунука ее дочка. Тоже мне, вдова офицера! И люди, представляешь, верят ей! Вначале те, кто рядом торговал, решили, что Карина — мой любовник. Нугзар, сосед по ряду, так и сказал: «Чего тебя на курда потянуло? Что, своих грузин рядом не хватает?» Нет слов у меня, нет слов!

Нанули на нервах чуть чашку не хлопнула об раковину, но ухитрилась поймать на лету.

— Потом с трудом разобрались, что Карина это она, а не он... А сколько я страху натерпелась, когда она на моих глазах драку затеяла и ей голову бутылкой разбили.

«Ну и ну! — мозговала Варвара про себя. — Да это не человек, а какой-то блиц-тест на выдержку!» Вслух же выдала давно продуманное решение проблемы:

— Карину надо культурно попросить освободить территорию.

Тут Нанули и Светлана Шалвовна одновременно повернулись на звук реплики, будто ослышались.

— Как «освободить»? — не поняла владелица проблемного приданого. — Куда? Ей же некуда идти. Совсем. Из общежития ее давно турнули. Да, она литрами мою кровь пьет, но что делать... Раньше ее еще можно было куда-то пристроить, а теперь общежития аннулировали, а взамен ничего не дали. Может, и есть где-то на бумаге какие-то законы, да ты пойди докажи, что

тебе что-то положено. Это ж сколько денег на разные справки надо. Дешевле просто терпеть. К тому ж Карина не совсем Тарзан на ветке, а так просто, легкий сдвиг у нее. Не опасный для жизни окружающих.

Тут Нанули глянула на часы у полки и засобиралась на свою торговую точку.

Варвара со своей мастерицей последовали за ней. Пока шли к метро, все говорили об услышанном.

— Знаешь, я бы так не смогла, — призналась Шалвовна. — Честно тебе скажу. Она у Нанули как большой старший ребенок. И обстирывает Нанули ее и всячески возится. А иначе будет ходить как бомж — Нанули позорить. Уж насколько я гостей люблю и общение, но такую бы держать у себя не стала. Пусть меня Бог простит. Легко и приятно общаться с культурным и аккуратным человеком, а такое «чудо в перьях» кто выдержит. У Нанули характер другой. Шебутная она, вроде как сама несерьезная, особо ничем не заморачивается. Может, потому и тянет этот огромный воз.

Для Варвары так и осталось это уравнением с тремя неизвестными — как такое возможно? Сейчас у людей нервная система подпорчена эпохой перманентных перемен, своих близких терпеть не хотят. Суперверующие, типа Елены, в расчет не берутся. Они себе иногда сами сложности создают, а потом их мужественно преодолевают. Зарабатывают таким образом себе Царство Небесное. Шалвовна, к примеру, в свое время тоже за идею страдала, коммунизм в отдельно взятом училище приближала. А вот Нанули зачем эти мытарства?

Карина прожила у Нанули 15 лет, а потом как-то сама отсеклась.

Прилепилась к другим людям. У Нанули, ясное дело, были именины сердца по этому поводу. Дети ее выросли, денег катастрофически стало не хватать, и уехала она на заработки в Турцию за лежащей больной смотреть. Тем более, что из-за долгов семья лишилась жилплощади — пришлось продать свою трешку и стать вечными квартирантами. А Нанули и в таком положении не унывала, все так же хохмила и словечки ввертывала, далекие от литературы.

Карина так и осталась работать на базробе, сбавлять клиентам туфли из разряда «почти Аидас». Обувь такая разваливается через месяц, и тогда обманутые приходят выяснять с ней отношения самым неделикатным образом. Весь заработок Карина теперь аккуратно отдает тем людям, у которых обрела новый дом. Даром никто держать не станет. Таких, как Нанули, больше нет, она единственная в Грузии. Натуральный эксклюзив.

— —

¹ Патруль – современное мобильное подразделение полиции в Грузии.

² Обращение к учителю, независимо от пола (гр.).

³ Информационная программа на канале «Рустави 2».

⁴ Базроба – рынок по-грузински (гр.).

⁵ Как будто (гр.).

Про собаку Набо, синдром отличницы и тайны детской психики

Кетеван делала уже второй круг по Дезертирке¹, напрасно прицениваясь то тут, то там. Доллар опять подскочил и потянул за собой все остальное.

Голова была занята другим: что делать с этой несносной девчонкой?

Сопико постоянно ставит ее, взрослую образованную женщину, мать троих детей, в идиотское положение. Создает своими вопросами тупик, из которого не видно достойного выхода.

Вот хотя бы недавний случай взять. Шли они с дочкой тихо-мирно по вон той улице, ведущей к метро. Впереди, помнится, шла татарка, перевязанная клетчатым пледом, и тащила красный пластмассовый таз с зеленью. По пути следования издавались рекламные выкрики одной тональности.

— Зэлен, зэлен, салата, киндза, петрушка-а-а.

У ворот напротив сидел на корточках какой-то неприятный тип. По виду точно наркоман. Очень уж лицо землисто-мертвого цвета. Он среагировал на вопли.

— Что глотку надрываешь?! Сразу кричи «борщ»! — и сплюнул желтоватой слюной.

Сопико уставилась на него. (Сколько раз ей Кето говорила, что пристально рассматривать мужчин никак нельзя — и вот, пожалуйста, опять эта дурацкая манера.)

— Мама, а ведь он прав! Все в этой жизни надо делать быстро! — и свернула на свою излюбленную тему: — Мам, когда же ты купишь собаку? С такой, как ты, я до пенсии щеночка не дождусь.

Тема эта была давно и наглухо закрыта. Кето потратила немало энергии, объясняя дочке аксиому, что верующие люди дома собак не держат. Пришлось снова вернуться к пройденному материалу, но уже исходя из бытовых реалий.

— Дома и так тесно. Куда нам собаку? От нее можно подцепить много разных заболеваний. Например...

— Вот увидишь, — не слушая ее, продолжала свое Сопико. — Мне Бог пошлет собачку. Ты же сама говорила: «Просите, и дастся вам». Я Его каждый день прошу.

— О всяких глупостях Бога беспокоить не нужно.

— Собака — живое существо. Она не глупость!

— Замолчи и не играй на нервах!

Тут их обогнала какая-то женщина в берете и обратилась без всяких приветствий:

— Вам щенок не нужен? Возьмите, а? Я его только что у мальчишек отбила, — и показала им какое-то чумазое существо, отдаленно напоминающее собаку.

Сопико тут же вцепилась в мохнатый комок и заголосила на всю улицу, да так, что тот наркоман у ворот привстал посмотреть, в чем дело.

— Услышал! Услышал! Это Бог мне собаку послал. Мама, ты же Ему не откажешь! Сама говорила, что от подарка отказываться неприлично!

А сама уже тискает, прижимает к себе этот рассадник блох и плачет от радости.

Кето тогда дала слабину, не смогла провести свою педагогическую линию до конца. Так у них в доме оказался Набо.

— Почему, спрашивается, Набо?! — запротестовала Кето, любящая во всем логическую последовательность. — Это не имя для собаки.

Сопико, в свои 7 лет уже вполне созревшая анархистка и разрушитель устоявшихся стереотипов, ответила, не задумываясь:

— Набо — сокращенно от Наболара.

— Так называют последних детей в семье.

— Он и есть в нашей семье последний. Он младше меня.

— Оооо!

Что тут скажешь? Нет, со старшими мальчишками было все намного проще.

У Кетино при бесконечных спорах с дочкой очень быстро сходили на нет все заранее заготовленные аргументы.

Набо оказался находкой для тесных апартаментов. Вел себя как джентльмен, не создавал лишних проблем, не лез гадить в святой угол, да еще, вдобавок ко всем плюсам, научился сам открывать лапой двери и удалялся, при необходимости, на свой коврик.

Да, и еще это был постоянный источник позитива в самые трудные моменты.

Сопико тоже была в восторге от питомца и хотя бы временно перестала терроризировать Кетино неприличными вопросами.

Кето всячески старалась привить ей веру, и все рассказываемое в детском мозгу принимало самые причудливые формы и выражалось в неповторимых перлах.

Вот, хотя бы этот вопрос из последней коллекции:

— Мам, а Бог создал женщину второй, потому что первый мужчина плохо получился?

— Не смей так говорить! — вскипела Кето. Она терпеть не могла любых теологических дискуссий и сомнений. Надо верить и не умничать.

И Кето, будучи уже на взводе, принялась ей рассказывать, что мужчина всему голова, а женщина согрешила, и потому их изгнали из рая.

Сопико поскуchnела.

— Я все это знаю, ма. Но почему ты умеешь все, а папа еле-еле свое дело и то не всегда. У него постоянно нет работы, и он говорит, что у него депрессия. А в домашних делах вас лучше вообще не сравнивать.

Вопрос с конкретным папой был скользким. Кето фактически вырастила всех троих одна. Папа присутствовал при всех исторических процессах, но легче от этого никому не было.

Кетеван, как верующий человек, не разводилась с мужем только потому, что они венчались, и в традиционной грузинской семье муж должен быть по определению.

У нее, может, в глубине души тоже иногда роились мысли о несправедливости мироздания. А может, это давал знать о себе своеобразный синдром отличницы. Трудно сказать. Вот она, Кето, всегда все делала тщательно, в соответствии со всеми инструкциями, а в жизни дальше бухгалтера в магазине не продвинулась. И в доме у нее все по полочкам, все как надо, а «спасибо» никто не скажет. Даже муж, ведь явный бездельник, прости, Господи, а зовет ее, Кетино, заумной черепахой и считает непроходимой дурой.

У старших сыновей уже своя жизнь, совсем не похожая на ее. И тут же, пожалуйста, Медико — соседка. В школе училась позорно плохо, двух книг в жизни не прочла, а муж ее на руках носит, уборщицу оплачивает и только успевает ей новые шмотки покупать. И она, Медико, им еще и недовольна и всем нагло рассказывает, что это она до него снизошла. Хоть бы собой хороша была, так и тут кроме огромного кахетинского носа-крючка похвалиться нечем. Где логика в этой жизни, непонятно.

Нет, лучше дальше не вдаваться в подробности. Табуированная тема. Сколько раз уже Кето каялась в завистливых помыслах. Все равно, жало в сердце сидит. Видно, не от души каялась, так выходит.

И на фоне всего этого еще эта пигалица Сопико со своими вопросами лезет, покоя душевного лишает.

Хорошо хоть, как Набо завела, меньше к матери приставать стала. Все мозги теперь собакой заняты. И то дело.

Но, как известно, все хорошее быстро кончается. Иногда болезненно резко.

На Пасху утром пошла Сопико Набо выгуливать. Пусто в городе. Людей практически не видно. Все по деревьям разъехались — отмечать.

Спустила она Набо с поводка — побегать. Вдруг из-за поворота на бешеной скорости вынырнул джип, и собаку — насмерть.

Сопико пришла домой в шоке. Плачет, заикается. Еле добились от нее связного рассказа. Ваню, старший, пошел и зарыл собаку в парке на отшибе.

Праздник был испорчен. Кетеван, как могла, пыталась сгладить тяжелый осадок, оставшийся у детей.

Сопо безучастно смотрела мультики по телевизору. Потом вдруг повернулась к матери с просветлевшим лицом.

— Мама, мама, я все поняла! Теперь Набо точно в рай попадет! Что Бог не делает, все к лучшему.

— Почему? — вздрогнула Кето от такого кощунства.

— Ты же сама говорила, что на Пасху умирают только самые лучшие.

— Я говорила про людей, а не про собак. — уточнила Кето, избегая категорических ноток в голосе.

— Собакам в тысячу раз тяжелее жить, чем людям, — продолжала Сопо свою мысль. — Раз они мучаются здесь, значит, где-то должен быть их рай. Просто пока это неизвестно.

У Кетеван не было сил спорить. Просто сделала себе заметку на будущее. Потом, когда острота восприятия слегка притупится, провести разъяснительную беседу о смысле всеобщего воскресения и основополагающих принципах попадания в рай.

Случай с собакой тихо-тихо сполз в прошлое. Вчера, пожалуйста, новый сюрприз. Зашел нейтральный разговор, кто кем хочет быть в будущем.

— Женой священника, — выпалила Сопо.

Кетеван только руками замахала.

— С твоей безалаберностью даже стыдно об этом думать.

— Я даже знаю, как его будут звать.

— И как, интересно.

— Василий.

— ???

— Ты родилась в день трех святителей и очень их любишь. У нас уже есть Ванико, Григол, а Василия не хватает, — радостно объяснила Сопо, немного сочувственно глядя на туго воспринимающую мать.

Кето стала ей объяснять, что любое прогнозирование будущего Богу не угодно, но натолкнулась на стену.

— Вот увидишь. Так и будет...

Так, за мысленным анализом педагогической деятельности, Кето все-таки набрела на то, что искала — ткемали по мизерной цене. Закупила пять кило и пошла довольная домой.

Все-таки, удачный шопинг — великая вещь. И мысли сразу потекли в другом философском направлении.

— Может, я зря себя накручиваю. У детской психики свои малоизученные законы. Кто его знает, как оно там в жизни обернется.

— —

¹Неофициальное название одного из базаров в Тбилиси.

МИХАИЛ ПАРФЕНОВ

Отец диакон

Очень краткое введение

Нижеприведенный текст не является в полной мере повествованием историко-документального жанра, хотя и основан во многом на вполне реальных событиях. Портреты героев повествования, равно как и фабула, имеют примерный или, как удачно выразился поэт Михаил Кульчицкий, штрихпунктирный характер. Быть может, читатели найдут в рассказе черты наших общих знакомых, но — уверяю вас — их сходство и сходство персонажей не имеют портретно-фотографический характер.

В рассказе вы не найдете захватывающего сюжета и леденящих душу сцен. Впрочем, как и откровенно смешных эпизодов. Для автора важна прежде всего человеческая изнанка, а уж потом все остальное...

Впрочем, довольно мучить вас — пора и за дело браться.

А дело делаться будет не поскору и не вборзе...

1

Отец диакон поднялся спозаранку. Поспешно нырнул в открытую дверь ванной, спросонок включил душ и торопливо ухватился за полустертую зубную щетку.

С момента своей хиротонии многие вещи отец диакон приучался делать на ходу, и если бы не его природная неуклюжесть, неповоротливость и, как говаривала жена, несклешность, то он наверняка бы превзошел Юлия Цезаря по уровню многозадачности.

Отец диакон от души ненавидел душ — будучи человеком сугубо банного склада, он любил медлительное и всеокутывающее тепло, ласково и одновременно страстно щекотавшее кожу и лежащие близко к ее поверхности сосуды. Душ же воспринимался им как исходящее сверху насилие, неравномерное давление на одну точку, притом что другие точки тела не испытывали ничего, кроме горячей и столь же малоприятной сырости.

Наспех помывшись, отец диакон так же наскоро оделся и опрометью кинулся в кромешную тьму зимней городской улицы. Впрочем, тьма эта кромешной не была — более того, пара-тройка фонарей обдавала потоками холодного, как и сама пустынно-морозная улица, света. И в свисте тормозных колодок, и в шуршании шин резко тормозивших на светофоре редких авто отцу диакону слышался иерусалимский плач и иерихонский скрежет каменных зубов.

Ранняя начиналась в пять утра, автобусы в эту пору еще даже и не думали ходить, и отцу диакону предстояло пробежать пять с половиной остановок. Посмотрев с тревогой и тоской на экран сотового, отец диакон в два раза ускорил шаг. Впереди, как в полусне, мелькнул железнодорожный переезд с застывшим, как по команде, мертвым шлагбаумом. Откуда-то из-под ограды детского садика выскочила одинокая дворняга, подбежала к отцу диакону, тщательно приняхалась к карману его пальто и, не найдя, по-видимому, ничего съестного, тоскливо приотстала, а потом и вовсе растворилась в сонной зыби морозного утра — без остатка растворилась, как сахарная голова в стакане кипятку.

Врата церковного двора были открыты настежь, и серые силуэты прихожан быстро двигались в сторону исполинской глыбой высившегося посередь двора новенького храма.

— Доброе утро, отец диакон, — слышались из сумрака полусонные и в то же время необыкновенно бодрые скрипучие голоса. Правда, попадались иногда голоса помоложе, иной раз совсем юные, вернее, девичьи.

Отец диакон отвечал рассеянno и невпопад, время от времени ему удавалось даже улыбаться, и он был искренне рад тому, что его вымученно-рассеянная улыбка видна лишь одному Небесному Отцу.

Прихожан на раннюю, по правде сказать, на сей раз было немного. И объяснялось это тем, что служба сия должна была быть всего лишь преддверием иной, более благодатной, восьмижды благодатной, как казалось многим из прихожанок, архиерейской службы. Вот и берегли люди силы на грядущее пятичасовое литургическое действо, которое должен был возглавить не какой-нибудь попик-белокрест, и даже не маститый протоотец-камненосец-митраист, а Сам Солнцеликий Предстоятель.

Отец диакон последний раз вздохнул перед храмовым порогом. Ему тоже предстояло узреть этот живой образ Христа, прибытие которого ожидалось не ранее девяти. Но для начала необходимо было разогреться — отслужить раннюю обедню.

Еще вчера вечером отец благочинный как-то чересчур пристально поглядывал на юного отца-недотепу. Не успев еще толком назначиться на этот приход, отец диакон ухитрился опоздать аккурат к визиту грозного царя приходов. Кому-то что-то объяснял посреди храмового дворика и, увлекшись, упустил время. А влетев стремглав в ризную, тут же опрокинул драгоценнейшую митру, стоявшую на самом краю резного столика.

— Медведь! — тихо зарычал благочинный. — Еще раз так сделаешь — с кружкой пошлю стоять в гипермаркет! Понял?!

Через десяток минут за неловкую подачу кадила медведь внезапно реинкарнировал в противного бородатого козла, а козел был вскоре наказан столь же внезапным перевоплощением в тупой сибирский валенок.

Отец диакон в тот вечер понял все: и то, что он нескрабазен, и то, что он не знает и не смыслит ровным счетом ничего в доселе неведомом ему богослужении, и то, что ему еще миллиарды верст до вожденного иерейства.

— Так вот, — подытожил в конце седобородый благочинный. — Завтра служишь и раннюю, и позднюю. Ты понял, зачем?

— Зачем? — простодушно и непонимающе спросил отец диакон.

— А затем, чтобы потренироваться, — ласково осклабясь, тихо произнес благочинный, с наслаждением застегивая пуговицы зимней рясы.

— Да, гемор — он и в церкви гемор, — прошептал неслышно отец диакон. — Лиха беда начало...

2

Не дойдя пары-тройки шагов до диаконских дверей алтаря, отец диакон остановился, чтобы поздороваться с певчими левого клироса. А заодно и украдкой полюбоваться ими. Чего греха таить, отец диакон был по-своему влюблен в каждую из них.

Старшей, Капитолине, было чуть за пятьдесят, но она была изумительно элегантна, что никоим образом не характерно для клиросных певчих. Ее удивительно правильные черты лица, высокая и аккуратная прическа, еще более подчеркивавшая ее филигранный лик, великолепно подобранные одежды и кокетливая манера общения нравились отцу диакону — он, несмотря на сильную интеллектуальную набожность, оставался глубоко светским человеком и сходу замечал даже самые малозаметные нюансы женской красоты.

Та, что помладше, Настя, была лет на пять постарше отца диакона. Белоликая и слегка полноватая, она была его идеальным женским типажом. Особенно великолепными казались отцу диакону ее обнаженные по локоть руки, чем-то напоминавшие руки Пшеницыной из любимого им «Обломова», при помощи которых она иной раз умело управляла непослушным штурвалом певческого корабля. Она была истерически набожна, и в этой набожности плохо скрывала глубоко скрытую страстность. Этот поистине фрейдовский типаж был интересен отцу диакону, который с каждым днем все больше и больше веровал в относительную правоту психоанализа.

Ее подруга Зина, высокая и большеглазая, наоборот, была житейски мудра и рассудительна — отец диакон бы с удовольствием пообщался с ней заместо ранней обедни. Она была его Гипатией, и его влечение к ней было сугубо интеллектуальным и одновременно пронзительно человеческим. От Гипатии веяло каким-то умиротворяющим покоем, и отец диакон на секунду забыл о предстоящем судном дне.

Следом за отцом диаконом подошла улыбчивая Ирина — в ее улыбке было что-то наигранно-детское. Впрочем, это только на первый взгляд: за детской улыбкой невидимо таились какая-то почти старообрядческая суровость и сугубый бытовой морализм.

За ней потянулись не разлей вода подруги Аня и Люся. Рыженькая Аня, жертва маминого православно-педагогического ежоворукавицынского эксперимента, преображалась на глазах в компании подруг, торопливо расставалась со своим незаслуженным и навязанным извне несчастьем, сбрасывала его небрежно, как сбрасывают весной опостылевшее зимнее пальто, — и на время становилась живым, хоть и недолюбленным, ребенком. «А она ведь маленькая еще, — думал про себя отец диакон, — но сколько в ней ранней взрослости!»

Маленькая и худощавая, слегка изогнутая знаком вопроса Люся, в отличие от подруги, не умела расставаться со страданием — страдание сопровождало и пригвождало ее повсюду. И она судорожно искала свою вечную судьбу. Тайно влюбившись, рыдала в голос. И в этом ее рыдании была всепоглощающая боязнь витального одиночества. Она бежала от него — и звук шагов был слышен во всем космосе.

Отец диакон слегка толкнул дверь и через секунду оказался в чисто вылизанной к визиту архиерея пономарке.

3

— Привет обитателям пономарки! — стараясь казаться бодрым, сходу брякнул отец диакон.

— А, это те маленькие зверьки, которые питаются вином?! — раздался чуть хрипловатый голос сбоку.

— Привет-привет, Витёк! — пожимая руку, еще бодрее ответил отец диакон.
— Шеф-то твой еще не тут?

— Да тут он, в доме причта уже тусит...

Витёк деловито протирал держатель дьяконской свечи.

— Вот, — добавил он как бы невзначай, — вчера опять меня вечером загонял по городу. Неймется ему — звонит вечером: айда, мол, освящать — вези меня и все тут! Я у него как прислуга, блин. Мотает меня по каждой херне. Жалею теперь, что из инженеров ушел, а обратно уже и не возьмут...

Шеф показался спустя четверть часа. Это был молодой еще человек с редкой бородкой и толстыми губами на слегка одутловатом и очень надменном лице. Был он чуть моложе отца диакона, но спеси хватало в нем на трех архиереев.

— Привет, отец диакон, — еще в дверях начал Шеф. — А ты чё это без подрясника? А ну давай быстрее шуруй на входные! Тебя чё, в семинарии ничему не учили, что ли, а?

«Начинается, — подумал про себя отец диакон. — То ли еще будет».

Впрочем, рыкнув слегка на Витьку, Шеф медленно и величаво зашагал на входные. Выслушав с некоторым нетерпением монотонное чтение отца диакона, Шеф театрально продекламировал полагающийся ему кусок текста и, истово поклонившись народу, проследовал обратно в алтарь. С такой же поистине художественной декламацией Шеф начал проскомидию. Но, дойдя до занудного чтения записок, как-то внезапно сдал и, сойдя с богослужебно-патетической волны, произнес:

— А ты знаешь, отец диакон, что я на всероссийской олимпиаде по химии первое место занял, когда в школе учился? И когда я школу заканчивал, меня один профессор из МГУ слезно умолял к нему на кафедру податься, а я ему взял да и сказал, что хочу в семинарию, Господу служить. Профессор загрустил сразу, но ничего не сказал... А когда я в семинарии учился, то от нечего делать на филфак поступил. И за два года три курса окончил. А потом понял, что с филфаком из меня не выйдет достойный пастырь, и бросил. Вот так!

Диакон кивнул с готовностью. Он уже не единожды слышал эти словоизлияния, потому никакого впечатления на него они уже не производили. «Сейчас и до доктора наук доверется, — подумал отец диакон. — И так я уже знаю, что его предки из солнечной Италии при царе Горохе пожаловали и им, предкам этим несчастным, пришлось фамилию срочно менять при большевиках, чтобы избежать пускания в расход... Однако жаль, что прикольнуться нельзя — беды потом не оберешься».

Витёк тем временем монотонно выгуживал записки, и отец диакон решил помочь собрату, а заодно избавить себя от слушания очередного сказкомифа...

Наконец, когда дары были приготовлены и накрыты, а каждение храма завершено, отец диакон вперевалку выкатился на солею и во всю силу легких возгласил:

— Благослови, владыко!

— Благословенно Царство Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков! — с приторной мелодичностью затянул Шеф, переливчато затягивая каждое слово.

— Аминь, — неуверенно и пискляво затянул хор.

Однако уже через полминуты пение выровнялось и стало предельно строгим. Отец диакон старался не частить, заботливо прислушивался к каждой клиросной руладе, но все равно говорил как-то не в тон — то ли медвежий слух мешал ему, то ли просто не было координации между слухом и голосом.

Служба катилась как по маслу почти до самого конца Литургии оглашенных.

На чтении Евангелия отец диакон ошибся с зачалом. Он понял это не сразу, а когда понял, чтение уже подходило к самой середине. Во время коротких вздохов между словами он невольно поймал реплику Шефа, обращенную к вошедшей украдкой боковой алтарной дверью матери Агнии:

— Ну придурок же, придурок! Ой, и чему их там учат в семинарии?! Я давно уже говорил, что все дьякона — дебилы!

С трудом не поддавшись назойливому желанию выругаться и разоблачиться, отец диакон на автопилоте произнес три ектении, а когда вошел в алтарь, тут же услышал менторский голос матери Агнии, обращенный к Шефу:

— Мало Вы диаконов ругаете — их надо еще воспитывать и воспитывать. У этого диакона ум как у котенка Барсика. Хотя нет, — и она сделала небольшую цензуру в своей почти речитативной тираде, — Барсик гораздо интеллектуальнее — он хоть мышей ловить умеет! А от диакона какая польза?

«Вот муха навозная! — со злостью и обидой подумал отец диакон. — Впрочем, мне еще в семинарии дали понять, что обзывать в церкви — это и есть пресловутый метод воспитания, идущий со времен египетских пустынь. Типа выработки смирения. Как у отцов: назовут свинотой — хрюкни

благодарно в ответ. Впрочем, и на место мне нельзя никого ставить — сочтут за бунтаря, а бунтарь, как известно, союзник и наперсник знамо кого...»

После причастия Шеф надолго пропал из алтаря — к вящей радости Витька, отца диакона и кротчайшей матери Агнии, с которой они традиционно были не в ладах. Он ушел вещать — и вещал минут сорок, демонстрируя искрометный талант подавать одну и ту же мысль разными словесоплетными комбинациями.

Зато мать Агния с новыми силами приступила к своей излюбленной педагогической работе:

— Наверно, диакон, с тобой жить трудно. И как жена твоя с тобой живет, не знаю. Ты ж такой глупый и упрямый!

— Вероятно, это так, — стараясь держаться как можно более бесстрастно, кивал головой отец диакон, попутно думая о том, что наверняка, после всех мытарств к вечеру его может ожидать добрая выпивка. И томительная радость грядущего возлияния еще более умножалась от того, что диакон не причащался и не запивал, ибо дважды причащаться в один день почему-то было не положено.

Наконец, речи и возгласы кончились. Шеф пошел отпускать народ крестом, и отец диакон с чувством физического и морального облегчения торопливо стянул с себя жаркий и слегка намокший от пота стихарь.

4

— Привет, отец диакон. Хошь, прикол один расскажу, вчера по радио слышал!.. — на пороге появился развеселый пономарь Вася. Коренастый, среднего роста, в неизменных толстых чикариках.

Не дождавшись ответа тормознутого диакона, он чуть вскинул голову и произнес вполголоса:

— Я сегодня выпил водки — берегитесь, колготки!

— Прикольно, Вася, — улыбаясь, поддержал его отец диакон.

— Ну чё, как время будет, я тебе один клипчик классный покажу — такая ржака ваще! Угарно! Гадя Петрович Хренова — слышал?!

— Слушай, отец диакон, а Телёнок еще тут?

— Ага, тут, на солее.

— Понял, — бодро произнес Вася, берясь за вторую коробку с кафельным углем.

Вместе с Агнией они давно прозвали Шефа Священной Коровой, а его неотлучного Витька — Телёнком. В свою очередь, отец диакон с Васьком втихаря звали Агнию старухой Шапокляк, духовные чада Шефа-Коровы звали Агнию просто Мухой.

Не успел Васёк заняться укладыванием угля на электроплитку, как на пороге вырос Саня. Простой и немудреный рабочий паренек с высоченной фигурой и грубоватыми чертами лица пользовался особой любовью отца диакона — за некоторую простоватость и особую любовь к чистке кадил пастой Гойя он окрестил его просто «Саней Кадило».

Саня Кадило — полная, диаметрально противоположность Васька. Он не был склонен ни к каким шуткам, никого не высмеивал и не подкалывал. Не потому, что не умел это делать, а потому, что считал смех и шутки грехом кощунства. Одно лишь губило его — он мог пить, по Башлачеву, «сутками и литрами».

Присутствие этих двух друзей мало-помалу развеселило отца диакона, и он на секунду подумал, что присутствие Главного — не такая уж и большая жизненная помеха. По крайней мере, Бородатое Божество приедет и уедет, а развеселая компания еще на некоторое время останется. По крайней мере, будет с кем выпить после бури!

5

Пока наши друзья непринужденно трепались между собой, а Священная Корова, тяжело сопя и утирая пот со лба, торопливо стягивала золотую шкуру, алтарь мало-помалу начал заполняться диаконами, иподиаконами, протоиереями и иереями.

Сначала пожаловал диакон-красавец Макарий, верный друг и бессменный собутыльник нашего отца диакона, неизменный предмет восторгов и тайный воздыхатель левого клироса, человек при этом весьма набожный и добрый от природы.

Пожаловал желчный и едкий, но добрый внутри отец Кузьма. Тот самый отец Кузьма Стуров, который, увидев отца диакона впервые на новом месте, произнес ехидно и сочувственно одновременно:

— Вот я-то не знал, куда суюсь, когда рукополагался, но ты, ты... и-эх!

За ним пришел рослый митроносец отец Гавриил Салотопенко, невесть откуда взявшийся в этих местах добродушный и насмешливый суржикоязычный хохол, страстный любитель разного рода ходячих железяк.

Пришел по вышнему зову и жаркий кавказец отец Даниил Гогоберидзе, ценитель прасковейских вин, женской красоты и богословского знания, человек, которого особым образом любил отец диакон.

Неспешной и шаткой походкой вошел отец Семен Тумайкин, истинный эрзя с пятью классами и шестым полутемным коридором, упрямый и смешной, знавший по-церковнославянски лишь одно слово «уст» (так он именовал рот). Как ни бились, подобно рыбам об лед, коллеги по цеху, отец Семен так и не смог осилить златоустовскую обедню, зато искусно и артистически служил «понакидки». Диакон чуть улыбнулся, увидев этого чудаковатого деревенского мордвина, на котором замыкался круг духовенства его родного прихода.

Спустя минут семь с большим чемоданчиком вихрем влетел в алтарь архиерейский диакон Дорофей — человек с глоткой средневекового бирюча, имевший прозвище Хартофилакс. Его наш отец диакон не на шутку боялся, ибо за его нарочитой деревенской простоватостью скрывалось мелковатое и нехитрое коварство.

Минута за минутой, и алтарь становился похожим на античную агору: кто-то оживленно раскладывал облачение, кто-то делился распоследними вестями, кто-то просто слонялся взад-вперед в поисках знакомых.

Но вмиг все стихло, когда в дверях бокового хода как из-под земли выросла монументальная фигура благочинного. Благочинный резким движением руки откинул дверь и молча встал в проеме. Он не произнес ни единого слова — лишь казалось, что молнии сыплются из его стальных зевсовых глаз.

Отец диакон застыл на минуту как вкопанный. Он не знал, что предпринять, он не мог сдвинуться с места, ибо прикован был этим пригвождающим к стене взглядом. Он на секунду поднял глаза, но тут же их опустил, наповал сраженный очередной невидимой стрелой.

Тем временем отец Макарий торопливо подбежал к благочинному и мягким кошачьим движением стал снимать с него зимнюю рясу. Благочинный зло усмехнулся и полушепотом произнес, бросив уничтожающий взгляд на отца диакона: «Дурак!».

Потом благочинный сделал несколько шагов в сторону жертвенника и знаком указал на отца диакона, чтобы тот спешно облачался и служил с ним проскомидию.

Полумертвый от страха, со сложенным стихарем отец диакон, едва не шатаясь, подошел к холеной руке благочинного и едва выдавил:

— Благослови, владыко, стихарь со орарем... — и торопливо поцеловал крестик на поручи.

— Ты что, дьякон, совсем спятил с ума! — прошипел благочинный. — Ты обязан мне руку целовать! Руку! Понял или нет, валенок?

— Понял... — упавшим голосом промямлил отец диакон.

Когда же пришло время целовать руку второй раз, он опять по привычке поцеловал поручь.

— Ты чё, совсем, что ли, дьякон? Издеваешься? — вспылил благочинный.

— Но я же крест целую, — внезапно вырвалось из уст маленького ничтожества.

— Ну, хорошо, может, и тут поцелуешь?! — и Зевс повернулся задом к прислужнику. — И вообще, это говорит о твоей любви к Богу, понял?!

— Понял! — по инерции повторил отец диакон.

6

— Что понял? — едким голосом произнес благочинный и торопливо оглядел алтарь.

Потом молча подошел к горнему месту, попросил у пономаря тряпку и резким движением провел по поверхности архиерейского сиденья. И не успел отец диакон глазом моргнуть, как тряпка полетела ему прямо в лицо.

...Отец диакон и сам понимал, что он неряха и растяпа. Но это были его врожденные качества, он был таковым по природе, он ничего не мог с собой поделать, и оттого его обида казалась еще горше. Он никогда не преследовал цели что-то делать плохо, даже в знак протеста — у него это выходило как-то произвольно. Угнетало отца диакона то, что окружающие его попы расценивали его неряшество как нечто умышленное, порожденное его ленью и упрямством. «Как же так, — думал он, — ведь собака не виновата в том, что она кусает и любит мясо, а не пироги с ягодами. Однако,

— продолжил он произвольно свой неожиданный ход мысли, — собаку все же бьют за то, что она кого-то неумышленно задирает... А значит, мое наказание, по идее, справедливо, хотя и по-армейски жестоко...»

Так он и стоял минут пять почти не моргая, пока благочинный не позвал его кадить. Попы стояли молча, безучастно, с тайным страхом глядя на эту архипедагогическую сцену, но возразить никто не мог в силу нашедшей на всех разом окаменелости.

Спустя минут десять после окончания проскомидии в алтарь торопливо влетел архиерейский диакон и гласом глашатая созвал всех на встречу Образа Христа.

«Тон дэспотин кэ архиереон имон... ис полла эти, дэспота!» — грянул громадный архиерейский хор, давно сменивший серых мышек левого клироса.

Дэспот двигался неторопливо и величаво. Он никуда не спешил и был воистину солнцелик. Казалось, он был весь целиком окружен золотым сияющим нимбом. И даже огненно-рыжая его брада, брада Аарона, источала невидимое благоухание мира и вселенский свет благодати.

Все попы и диакона застыли в немом ступорозном величье. Они ни на секунду не смели отвести взгляда от его мистических очес. Женщины в переднем ряду негромко зарыдали от окатившей их волны умиления, и даже бородатые мужчины с юношами потихоньку начали всхлипывать.

Один низкорослый лысоватый попик подобострастно и с полуулыбкой неспешно облобызал десницу Огненноликого, а потом целая команда прекрасных юношей методично обрядила Образ Самого Христа в такие же солнечные, как его брада, одежды.

А потом наступила совсем небольшая пауза. Пауза, когда сквозь всхлипывания длинновласых юношей и осторожные рыдания бальзаковских полунезамужних дам набирал дыхание грозный Хартофилакс.

7

Громоподобный голос Хартофилакса, казалось, навсегда положил конец этой тягуче-мutorной полутшине. И, перекрывая благочестивый рык, на последнем слогe ектенийной фразы все так же надрывно, со страстью грянул стоголосый хор.

Дальше все завертелось довольно быстро: диакона попеременно произнесли три ектении, иереи-протосы змейкой переходили с места на место, пока, наконец, не оказались все внутри вместительного алтаря. Потом сидели на Апостоле и стояли на Евангелии. Снимали и вновь надевали камилавки, клобуки и усыпанные красивыми камушками митры.

Отцу диакону досталась пара ектений перед самым Великим входом. Волнуясь, он вышел на амвон и судорожно начал листать страницы Служебника. Не нашедши, махнул рукою, понадеявшись на то, что и так знает ее наизусть. И тут произошло непоправимое...

Отчитав короткую «Паки и паки», отец диакон облегченно закрыл книгу, и хор мягко и плавно затянул «Херувимскую» Павла Чеснокова. «Иже Херувимы тайно образующе», — мягко лилось из уст сладкогласого хора. Но едва отец диакон вошел в северные алтарные двери, как раздался резкий голос Огнеликого:

— Остановить! Остановить службу! Я требую остановить!

Хор замолк на полужеле. Храм, казалось, погрузился в гнетущую тишину. И среди этой тишины чья-то рука неторопливо и властно выталкивала отца диакона вновь на амвон.

Как в бреду, он произнес прошения правильно, но, вернувшись в алтарь, он тут же был испепелен священным взором Солнцеликого. Впрочем, Солнцеликий не стал опускаться до банальных наказаний мелких слуг — милостиво доверил эту священную миссию благочинному.

— Что, — кипел вулканом благочинный, — о матушке думаешь во время священнодействия?! Одурел совсем!

— Простите, я больше не буду, — тоном нашкодившего второклассника лепетал отец диакон. — Я не хотел...

— При чем тут «простите»? Он еще прощения просит!.. Месяц без выходных! Понятно?! Ты понял, пень?!

Дальше уже оставалось биться мелкой дрожью. Вздрагивать от малейшего замечания попов, которые явно были довольны тем, что Божество нашло себе утолившее священный голод всесожжение.

Впрочем, для Огнеликого в тот день нашлась еще одна великолепная жертва, и ей оказалась самая что ни на есть божественная Священная Корова, стоявшая в типовой и малозаметной черной шкуре где-то в самой дальней точке алтаря.

После причастия на Корову кто-то обратил пристальное внимание, указал ей на то, что она имеет неоценимый дар слова, а потом аккуратненько подтолкнул к Божеству. Божество подумало секунды три и благословило Корову произнести нечто благочестивое. И новоявленный проповедник так раздухарился, что угрохал на благочестиво-елейные речи больше получаса. Когда же он, взволнованный, оказался пред Высоким Жертвенником и Ясными Очами, то от волнения вместо того, чтобы облобызать десницу, он ее просто по-товарищески пожал. Сложно вспомнить ныне, что было потом, но апокалипсис в масштабах одной несчастливой личности наступил незамедлительно.

Отцу диакону было неприятно видеть очередную психологическую казнь, но утробно-предательское чувство злорадства все равно давало о себе знать где-то в потаенных чащах души.

Когда этот благочестивый ад все же кончился, и попы поспешно ринулись провожать Божество, отец диакон, поняв, что он уже мало кому интересен, облегченно поплелся в пономарку потреблять первоочередную пищу пономарей.

Однако не успел он сделать и пяти шагов, как откуда ни возьмись вновь появился благочинный со связкой ключей в руках. Отстегнув один маленький английский ключик, благочинный торопливо протянул его отцу диакону и промолвил все тем же голосом с металлическими нотками:

— Дьякон, вот тебе ключи от архиерейского туалета. Приказываю тебе сидеть под дверью и сторожить. Как пойдет владыка — откроешь! Понял?..

И отец диакон опрометью побежал стеречь дверь сакрального сортира.

9

Если верить теории относительности Эйнштейна, секунда запросто может оказаться на поверку годом. Не знаю, как насчет года, но почти часовое стояние под дверью священной уборной показалось отцу диакону гармоничным продолжением адовой вечности. Сначала он переминался с ноги на ногу, потом считал воображаемых слонов в виртуальной саванне,

потом мало-помалу начал расхаживать взад-вперед по пустому коридору дома причта. И, наконец, не утерпел, ушел в противоположный конец коридора на кухню — поговорить о жизни с поварами.

Когда разговор вошел в самую что ни на есть кульминационную фазу, он поднял глаза и увидел, как Огнеликий, сопровождаемый целой свитой иподиаконов, торжественно дефилирует к сакральным белым вратам.

Бежать было уже поздно, но отец диакон все равно неистово рванул вперед и едва не налетел на внезапно озверевшего благочинного. Вместо словесного внушения благочинный, слегка размахнувшись, стукнул отца диакона чуть пониже правого ребра. Удар был несильный, но очень ощутимый. Но тогда отец диакон почти не обратил на него внимания. Он нагнал Солнцеликого Ра у дверей святого нужника и торопливо вынул ключ...

Архиерей недовольно поморщился, посмотрел на отца диакона круглыми непонимающими глазами, бросил взгляд на одного из попов свиты, торопливо открывавшего замок собственным ключом, а потом вполголоса скомандовал: «Вон отсюда!»

И — отлегло на сердце... Внезапно и легко — отлегло.

На сегодня оставался только один интересный и вкусный квест — божественный пир.

10

«В христианстве есть две аналоговые модели рая — рай как вечная Литургия и рай как вечная Трапеза. Если обе эти модели воплотятся в жизнь по-епархиальному да по-русски, то, наверное, я бы не захотел никогда в этот жуткий рай...» — так думал наш отец диакон, торопливо разливая водку и вино по рюмкам и бокалам. Ибо не успел он войти в трапезную, как чей-то металлический голос живо напомнил ему, что диакон — это в переводе с греческого «слуга», а участь слуги — наливать. Правда, один из смекалистых попов подсказал отцу диакону и то, что слуга и себя обижать ни в коей мере не должен. Вот он и не обижал. И, как-то непривычно ловко справляясь со стеклотарой, он и сам хмелел вместе со своими рясоносными господами.

— Дорогой владыко! — гремело в воздухе. — До того, как Вы изволили посетить нашу богоданную землю, здесь была бесплодная пустыня, а ныне стараниями Вашими расцветает в местах сих божественный вертоград!..

— Солнцеликому — многая лета! — завершил эту витиеватую речь громобойный Хартофилакс.

... И вновь тонко звенело рюмочное стекло. Вилки вызванивали мелкую дробь о края бокалов, и одинаково витиеватые речи о том, как насажден был в пустыне бесплодной дивный Эдемский сад, сотрясали изрядно загустевший воздух. И в этом загустевшем воздухе, насыщенном речами и этиловыми парами, наливалась и крепла каждый миг накопившаяся за день досада.

... А дальше все помнилось как во сне. Трапезная во мгновение ока встала на дыбы, как взнузданный конь Медного всадника, пол и потолок вдруг поменялись местами, и отец диакон внезапно почувствовал, как он резко теряет опору. Он ощутил, как его непослушное тело входит в какой-то затяжной штопор.

— Ну что ж, — сказал он сам себе, — раз я скоро разобьюсь, и мне дано всего лишь несколько секунд стремительно уходящего времени, то пусть это время будет не чем иным, как моментом истины, ну, а там хоть трава не расти.

... И он внезапно выпрямился, поднял руки кверху и выпалил с дрожью в голосе:

— Наверное, вам это будет неприятно, дорогие отцы и наидобрейший Огнелик, но я обманулся. Жестоко обманулся. И обманулся во многом благодаря вам! Я думал, что здесь есть Бог. Но теперь я понял, что Бога здесь нет и не будет. Бог в этих стенах — это просто такое кодовое слово, которое запускает механизм зарабатывания бабла. Люди слышат его и почти бессознательно опустошают ради вас кошельки... И я не хочу обманывать ни вас, ни самого себя. Простите, но я закрываю дверь с обратной стороны... Как сказал некогда еще Мейстер Экхарт, Христос может рождаться сколько угодно раз, но если Он ни разу не родится в тебе — ты мертв. Вы мертвы, и я мертв. Вы делаете так, как будто Христа нет. А я просто Его не чувствую и не вижу...

И, грохнув вдребезги бокал, отец диакон, не оглядываясь, вышел в самое нутро темной морозной улицы...

11

Отец диакон с трудом открыл глаза. Сначала перед ним показался неровный квадрат потолка, который через полминуты мало-помалу выровнялся.

Повернув с трудом тяжелую голову, он увидел едва заметную полоску света, чуть струившуюся из ярко освещенного узкого коридора.

Он лежал на кровати в углу поповской комнаты дома причта. Под голову его чьей-то заботливой рукой была подложена мягкая перьевая подушка.

Валявшийся в изголовье телефон выдавал девяносто девять неотвеченных вызовов, а на табло его дружно выстроились четыре одинаковых нуля...

— Какой ужас! — едва не плача, произнес отец диакон. — За меня же дома переживают, а я... Свин я эдакий, свин!

... И он опрометью кинулся вниз.

Внизу на вахте в полудреме коротала ночь сторожика тетя Дуся. Она немного удивленно подняла глаза и спросила спросонья:

— Отец Евгений, вы домой?

И, получив утвердительный ответ, улыбнулась тепло и добавила:

— Надо, надо, а то матушка с детишками заждались поди.

— Спасибо вам, тетя Дусь, — широко улыбнувшись, промолвил отец Евгений.

— Это за что же спасибо? — спросила, подняв брови, тетя Дуся.

— Вам не понять... — глубокомысленно изрек отец и добавил: — А скажите, я действительно какую-то речь толкнул на трапезе?

— Да кто вас там понять-то мог? Вы как падать начали, отец Кузьма да отец Даниил вас сразу под руки подхватили да наверх повели. Вы что-то там говорили, а отец Кузьма только и приговаривал, что вас от греха подальше надо увести. Вот и увели. Да вы не переживайте, все равно здесь никого, кроме нас с вами, нет...

Отец Евгений стремглав несясь домой. Несмотря на жуткую головную боль и мучительные укоры совести, он несколько не замедлил бег. И причиной его столь быстрого бега было не только желание хотя бы что-то удержать и спасти в личной жизни, но и не выразимое никакими словами счастье обретения того, что неизменно и неразрывно связано с самыми надежными скрепами человеческого общения, имя которым нежность и теплота. Отныне он не просто человек-функция, не просто чей-то безликий и безропотный слуга, а полновесный человек, у которого есть настоящее человеческое имя.

Баллада о Кадиле

Глава 1. Мой бывший друг Кадило

Вы, дорогие читатели, пробежав широко отверстыми, как у испуганной орлицы, очами заглавие, наверняка решили, что автор малость и ненароком рехнулся, решив воспеть вполне себе обычный предмет церковной утвари, который в учебной литературе для барсуков... тьфу ты, оговорился... бурсаков громко именуется церковным сосудом.

Что ж, отчасти это так. Признаться честно, за мной и до сей поры водится малозаметная, почти латентная слабость к подобного рода предметам, и парочку этих изящных сосудишков я все же храню в своих заветных кладовых. Один из них достался мне от покойного отца А., человека с дворянскими корнями и самого что ни на есть истинного интеллигента, коих кот наплакал в сословии бородатом, и посему я сей сосуд ни за какие коврижки никому отдавать не намерен!

Впрочем, я заболтался в своем любовании этой красиво и благоуханно дымящейся штукой, посему пришла пора мне подзабыть свой рудиментарно-благочестивый вещизм, а заодно и вспомнить добрым словом того, кто любовался кадилом словно красною девицей. И имя этому доморощенному эстету — Саня.

— Эх, какое кадило тусклое! — сокрушенно восклицал пришедший ни свет ни заря в пономарку Санёк. — Надо его почистить!

... И принимался его так надраивать, как надраивают армейские кирзачи накануне очередного смотра на плацу перед архиважным генералом. Всего через полчаса золотые руки Сани вкупе с шерстяной тряпочкой и пастой Гойя творили подлинное чудо — кадило блистало так, что от него весело и шаловливо отскакивали солнечные зайчики, если таковые имелись на данный момент времени. Ну, а если их не было, то наблищенное кадило так отражало свет потолочных светильников, что казалось иной раз ярче их самих.

За эту особую любовь к претворению тусклой и закопченной штуковины на цепочках в подобие золотой маковки я так и окрестил Саню — Саня Кадило. Или просто Кадило.

Кадило был прост. Прост, как истинное незамысловатое кадило. Или как кацея-кадильце.

Придет он, бывалоча, убирать перед службой. Тряпку в руки возьмет, глаза поднимет и застынет перед резным самодельным распятием.

— Да... — промолвит с глубоким искренним вздохом. — Как Он страдал за нас. И ведь это же все надо было как-то выдержать...

И лишь потом молча начнет смахивать с распятия обильно насевшую на него пыль и кадильную копоть.

Саня — он не из ослиных богов. То бишь, богов ослов... тьфу ты... богословов. Он из самого что ни на есть рабочего района. Из самой что ни на есть рабочей семьи. И манеры у него самые что ни на есть рабочие. И руки тоже рабочие. И черты лица рабочие. И учился он тоже на рабочую профессию. Думаю, не случись с ним пары-тройки неприятных okazji, глядишь, кадила эти он бы на токарном станке вытачивал. А может, и на фрезерном. А может, на револьверном. А может, даже и с ЧПУ — после кровнородственного ПТУ.

Глава 2. Саня и его Священная миссия

Православие, как известно, не настаивает на всеобщем безбрачии. Более того, оно даже рекомендует слегка ограниченный постами-праздниками-говениями-воскресеньями-неблагословениями и прочими благочестивыми изводами православной практики «кекс» после предварительного согласования с коллегией жрецов. В противном случае «кекс» объявляется тяжким грехом, а его участники еще живыми и здоровыми отправляются на вечное поселение в мусорную долину Гай-Хинном.

Саня все старался делать по закону, и если он начинал испытывать к очередной оплаченной девице нечто большее, чем благочестивое желание совместной молитвы, то тут же направлял ей устное предложение окольцеваться с последующим мегаобильным чадородием. Вдохновенная миссия Кадила привела к тому, что через пару недель все благочестивые девицы, как сговорившись, опрометью неслись из храма, аки черти от ладана, едва завидев бравого жениха-кадиломана. Не помогло даже то, что иных Саня пытался обнять за талию, не отходя от клироса, — девицы лишь испуганно ускальзывали, словно елеем намазанные, из-под могучих лап Железного дровосека.

И когда Саня вконец отчаялся, внезапно откуда ни возьмись появилась желанная, благословленная волею небес Она. Она оказалась далеко не такой благочестивой и сладкогласой, какой мечтал ее видеть Кадило, но в этой несовершеннейшей ее ипостаси Кадило очень тонко и верно подметил

призыв Самого Божества к тому, чтобы он, Саня, довел ее до уровня Пресвятой Девы. Ему дарована миссия из миссий — претворить тусклое и немощное женское естество в гуголсолнцеподобное (простите великодушно за неологизм) существо, до мельчайших фибров души преданное Богу и мужу. И окрыленный раб Божий Александр Кадило немедленно принялся за свое благое и светлое дело.

Глава 3. Женитьба Кадила

Кадило тут, Кадило там...

Кадилу и впрямь порой несладко приходилось. То попы что-нибудь брякнут, то благочестивая мать А. возьмет да и швырнет подрясник прямо с крыльца пономарки на снежок. Но Кадило терпел благодушно.

Но в тот умеренно жаркий летний денек Кадило командовал сам и носился, гарцуя, подобно арабскому скакуну, исключительного ради собственного своего удовольствия. Как вы догадались, Кадило в тот день обзаводился долгожданной второй половиной.

— Эй, жана! — кричал через весь храм Саня. — Ну ты чё там, блин... Ты должна быть в послушании у мужа. Я не понял, э?! Ну ты чё не около меня?!

Подруги испуганно переглядывались, попутно вспоминая о том, что до венчания еще добрый час времени и де-юре их подруга еще покамест девица на выданье, пусть и не в летах сугубо юных. Но Кадило жил предвкушением, и оно было вкуснее паче вкуса и послевкусия.

После венчания счастливая пара и гости понеслись немедленно в одну из многочисленных рабоче-крестьянских кафенюшек, где их уже ждали тамада, конкурсы и обильная трапеза, щедро и от души приправленная разлитым спиртуальным морем.

Саня во мгновение ока, ощутив себя в родной стихии, радостно отдался волнам. Уже через полчаса он приобрел загадочный вид красивого дельфина, а еще через пару-тройку часов из дельфина он преобразился в атомную подводную лодку. Под конец он так погрузился в океанские глубины, что ни новоявленная свекровь, ни свекр, ни сама новоиспеченная супруга не сумели поднять его на поверхность.

Зареванная, с растекшейся по щекам тушью, несчастная ситуативно-соломенная вдова отправилась спать в дом батюшки и матушки, а

подводную лодку с горем пополам отбуксировали в привычную для нее холостяцко-диванную гавань.

Глава 4. И бысть утро, и бысть вечер...

Православно отгудели день второй. Кадило в тот день был еще веселее — он даже лихо отплясывал и что-то пел невпопад, приводя в полумистический ужас свою новообетенную половину. Впрочем, справедливости ради скажем, что ей было не впервой — она и не таких навидалась на своем недолгом женском веку. Тем не менее, столь яркое, поистине гегелевское по размаху диалектическое единство взаимоисключающих черт поведения и характера уж очень явно бросалось в глаза. И она про себя решила на первых порах смириться, а уж потом — как Бог на душу положит.

Вторая ночь прошла подобно первой — в сугубом плотском посте. Правда, на сей раз Кадило спал мертвецким сном вахтенного матроса после наконец-то прошедшей вахты, и не нужно было скорбеть о бахусно-соломенном вдовстве.

Едва уснув с первыми лучами солнца, молодая супруга была разбужена резким толчком в бок.

— Жена! А ну вставай на молитву! — деловито отвечивал на ее немое спросонное вопрошание супруг.

— Ну так ведь мне на работу только через три часа! — отчаянно парировала молодая.

— Ну вот, как раз почитаем правило, Евангелие, акафист, а потом ты приготовишь завтрак! — чеканно скомандовал Санёк.

Правило, читаемое вслух и нараспев, оказалось непомерно длинным. Потом они по очереди вкушали мед Благовестия. Венцом их первой супружеской молитвы стал акафист благочестивым муромским чудотворцам Петру и Февронии. В каком-то тягуче-туманном полусне как будто сам собой возник завтрак. А потом в таком же полусне творились обед и ужин.

А после ужина вновь звучало Евангелие. Ибо, как сказал некогда святитель Игнатий Кавказский, нужно обязательно главу-другую ежедневно прочитывать. Ну и, конечно, непременно акафист. И, разумеется, молитвы на сон грядущим.

А иначе как жить семье без этих вдохновенно-возвышенных молитвенных словес?

Глава 5. Спящая красавица

Однажды сотрудники бухгалтерии фирмы «Цефекон-Д», вернувшись с привычного им бизнес-ланча, застали одну из своих сотрудниц спящей прямо на клавиатуре компьютера. На экране давно уже выстроилась невиданная доселе комбинация букв, циферок и прочих символов, обогативших и без того богатые абсурдом учетные таблицы. В полуаршине от головы девушки мирно и совершенно по-обыденному благоухал недопитый кофе.

— Надо ведь, милочка, — воздохнула пышнотелая главбух Альбина Альбертовна. — Даже кофэ не помогает... А я вот думаю-гадаю уже месяц подряд: и чего она на обед-то не ходит?

И со свойственной ей природной заботливостью знаком попросила сотрудниц выйти, а затем тихонько закрыла дверь.

— Пока директора нет, покурим в коридорчике с полчасика, — нежно и вкрадчиво пропела грудным голосом Альбина.

— Ну, так что там с ней? — хихикнув, торопливо переспросила ее заместитель, юркая и смешливая Верочка.

— А ты чё, первый год замужем? — оборвала ее Альбина Альбертовна.

— Первый! — хихикнула вновь Верочка. — Дык и она тоже первый!

— Да я тебя не в том смысле спросила, Вер... Ну, понимаешь, у них там все, ну, как это сказать, блин... домострой — во! Ты же видишь, как она одевается теперь. Раньше юбка была с ремень — теперь вот и туфель не видать. И тени были раньше орифлэймовские. А сейчас бледная, как поганка...

— Ну и нахрен так жить? — со свойственной ей резкостью спросила Верочка.

— Любоффь, понимаешь, любоффь... — мечтательно глядя в потолок, с плохо скрываемой иронией протянула Альбина Альбертовна.

За разговорами обе дамы не заметили, как откуда ни возьмись возникла точеная загорелая фигура фотомodelьной красавицы-директрисы, или, как она себя любила называть, топ-менеджера (сотрудницы с особой женской серпентарной любовью именовали ее просто тёткой Топой).

Топа подкралась незаметно, по-кошачьи, а потом почти по-кобыльи топнула:

— Ну, что это здесь за базар, а? Альбина Альбертовна, Верочка, ну вы чё, совсем хотите премии лишиться?! Где отчет по движению товара, а? А третья ваша где?

Не дождавшись ответа, Топа почти пинком распахнула дверь бухгалтерии и, узрев спящую, топнула в два раза громче.

Невеста месячной давности с трудом оторвала голову от теплого и мягкого киборда, и глаза ее непроизвольно встретились с леденящим взглядом Топы.

— Ну что, девушка, где ваш отчет? Где ведомости? Вы мне должны были сдать их еще вчера! Короче... — задохнувшись от неконтролируемого порыва гнева, прошипела Топа, — если отчета к вечеру не будет — уволю по статье! Поняли?

— Да, конечно, поняла, — спросонок промямлила бухгалтерша.

— Что поняла? — не унималась Топа.

— Что отчет надо...

— Два отчета! И объяснительную мне на стол!

С этими словами Топа, театрально развернувшись, порхнула и скрылась в бесконечной аэродинамической трубе коридора.

Молодая жена омывала обильными слезами клавиатуру, и, того гляди, готовилась омыть ими изрядно запыленный экран.

— Да брось ты его на хрен! — не выдержав, выдавила Верочка. — Чё, мужиков, что ли, нет на свете? Или свет клином сошелся?

Молодая ничего не ответила — зарыдала только пуще и горше. И, прорыдав еще с полчаса, взялась героически, как Дарья Гармаш, побивать стахановские рекорды буккиперского цифроблудия.

Глава 6. Закон природы

Неизвестно, чем бы кончилась сонная эпопея кадиловой половины, но на ее сторону внезапно стал Его Величество Закон Природы.

Однажды утром, проснувшись, как и прежде, разбитой, супруга Саньки ощутила какой-то особый приступ тошноты. Ее и до этого тошнило из-за полубессонных ночей, но теперь тошнота как-то слишком быстро подступала

к горлу. Бороться с нею было никак не возможно, даже нараспев читаемый Кадилом акафист не помогал. На самой середине шестого икоса, когда Кадило вошел в особый раж, супруга внезапно сорвалась с места и семимильными шагами устремилась к отхожему месту. До Сани явственно донеслись звуки, похожие на утробное урчание.

Перед выходом из дома тошнота повторилась с той же силою — не помог даже церукал. К полудню приступы тошноты немного стихли, но к вечеру повторились вновь.

Обеспокоенный Кадило суетился и хлопотал вокруг охавшей супруги с залитым крупными слезами лицом. Оба они с замиранием сердца понимали, что отныне в их совсем еще не окрепшей семье зарождается тот, кто станет их скрепою, кто свяжет их по-настоящему в единую и сокрушимую лишь могилою плоть.

С того дня начальница Топа как-то слегка поутихла, да и сам Кадило за суетой как-то ослабил свое молитвенное горение. Впрочем, если его ночами одолевала страстная жажда молитвы, он тихонько вставал и шел молиться на кухонку и долго-долго, иной раз до самого рассвета, молча перебирал при мистифицирующем свете лампадки затертые до блеска четки с маленькими металлическими бусинами.

А потом Кадило вдруг в одночасье ощутил, что ему скучно молиться одному. Да и приступы тошноты и рвоты мало-помалу отступали. Тревожило лишь одно: у супруги как-то странно тянуло снизу живот — как перед месячными, и эти тянущие боли иногда перерастали в малозаметную мелкую резь.

Однажды вечером Кадило властно подступил к жене и сказал решительно и твердо:

— Ну все, хватит расслабляться, за младенца молиться надо. А то старцы говорят, что если мы не будем воспитывать еще в утробе, грешник появится. Я вот вчера был на проповеди у отца Дормидонта — батюшка сказал, что непраздная сугубо молиться должна и пост ей потребен. Он сказал: я не помню, чтобы от поста беременные умирали, наоборот — детишек рожали здоровеньких и крепеньких!

... И потянулись сызнова полубессонные ночи.

Кадило иной раз клал поклонов по шестьсот за вечер — двести за себя, двести за немощную жену, двести за чадо, которое он уже заранее нарек

Дориком — в честь отца Дормидонта. Он почему-то считал, что у него будет именно мальчик. Время от времени соседи стучали чем-то тяжелым по батарее, и по стуку Кадило безошибочно определял, что город погрузился в полночь. Он малость убавлял силу связок, потом вновь наращивал, но соседи к тому времени уже проваливались в сон, не в силах совладать с упрямым и медвежьеухим подвижником. Насытившись молитвой и приласкав уснувшую в первом часу ночи половинку, Кадило безмятежно отчаливал в страну волшебника Морфея, и спустя пять минут его без преувеличения боцманский храп сотрясал акустически сверхпроницаемые стены панельного билдинга-муравейника.

После работы Кадило брал пивка, невозбранно уговаривал по пути пару-тройку поллитровок, иной раз совершая благоговейное паломничество по знакомым с самого детства капельницам, где сиживал в компании крепкого и цепкого Ерша Ершовича. Вернувшись домой, кликал громовым баритоном с самого порога жену и был не на шутку сердит, когда та пыталась угостить его котлетами в пятницу.

— Ну ты чё, совсем что ли рёхнутая! Сегодня ж пятница! — стуча кулаком по столу, орал захмелевший Санёк. — Сегодня же Христа распяли! Понимашь, за наши грехи распяли, а ты... Дура, блин!

И жена, скрипя зубами, опрометью неслась на лоджию за засоленными с лета огурцами...

Глава 7. Ожидаемое несчастье

Рано утром шестого января, в самый канун Рождества, Кадило был разбужен перед рассветом громким стоном супруги. Она и раньше стонала, но в этот раз стон стал совсем невыносим.

— Ну, блин, чё опять стряслось-то? — сквозь сон раздраженно выкрикнул Кадило. — Ну сколько ж можно орать? Сочельник же! Потерпи — сейчас на службу пойдем.

Но жене было не до терпезу — она непривычно властным голосом оборвала Саньку и попросила вызвать «Скорую». Санька медлил. Он пал на колени, что-то быстро забормотал, но супруга закричала еще громче. Дрожащими руками Санька схватил сотовый. На том конце линии кто-то ровным голосом попросил уточнить симптомы. «Живот болит.... Внизу... Короче, сами соображайте!» — зло выкрикнул Кадило, а потом осекся и уже монотонно-бесстрастным голосом продиктовал адрес.

«Скорая» приехала через полчаса — по пути стояла в какой-то дикой утренней пробке. В пробку попали и на пути в гинекологическую больницу. Кадило сидел как на иголках и под конец так отчаянно возопил, что испуганный водитель сгоряча врубил сирену. Машины мало-помалу разъехались, и спустя четверть часа они очутились у ржавых задних больничных ворот.

Спустя еще полчаса жену оформили в отделение. Саня украдкой вглядывался в лицо доктора, надеясь что-то на нем прочесть. Доктор молча что-то писал, потом резко поднял глаза и будто прошил Саню острой свинцовой очередью:

— Молодой человек! Что это вы так пристально на меня смотрите? Я вам ответа на вопрос не дам — узнаете все завтра. Хотя... может, уже сегодня, — и металлическим голосом добавил: — В операционную!

— Как — в операционную? — упавшим голосом переспросил Саня.

Доктор ничего не ответил, поглядел исподлобья на осунувшегося внезапно Кадило, резко повернулся к нему широченной спиной и быстро зашагал в сторону операционной.

У Кадила в руках осталась большая сумка с сапогами и верхней одеждой жены. Первые пять минут он стоял потерянный посреди больничного вестибюля, потом в его голове внезапно что-то зажглось, и он бодро зашагал в сторону ближайшей капельницы.

В капельнице он взял бутылку водовки с пивом, один бутерброд с протухшей красной рыбой, сел напротив какого-то местного бухаря, от которого несло чесночным запахом застарелой мочи.

— Ну, брателло, дёрнем! — с деланным задором произнес Кадило, наливая второй стакан бухарю.

Тот, обласкав Саньку благодарным взглядом, махом осушил стопку, занюхал грязным рукавом драной куртёшки, чуть крякнул и опять подвинул стакан Сане.

— Ну, брат, бухать так бухать! — воскликнул Сашка и снова налил колдырю.

Колдырь в ответ что-то замычал, кинулся обнимать Кадило, и тот по-христиански ответил ему тем же.

Когда водка и пиво были прикончены, Кадило заботливо взял колдыря под ручку и проводил его до того подъезда, на который он, мыча, указывал рукою.

По пути домой Саня взял еще поллитру. В полусотне шагов от подъезда, оглядевшись воровато, распечатал ее во мгновение ока и сделал мощный мужицкий глоток. С этим глотком, не убитым никакой закуской, мир вдруг обернулся многоцветной каруселью, и уродливое его несовершенство потонуло в бесконечном океане вселенской любви и гармонии. Сане в этот момент захотелось обнять всех и каждого, но, кроме молодой парочки с коляской, величаво дефилировавшей по детской площадке, обнять было некого. Однако Саня стремглав понесся им наперерез, вырос перед ними как из-под земли и промычал изрядно заплетавшимся языком:

— С Соч-чеель-ком!

— Чё!? — заорал ему в ответ молодой папа. — Мужик, ты охерел, что ли? Какой ссачельник? Сам ща обоссешься, понял?!

Вселенская любовь Кадила как-то внезапно улетучилась, и след ее простыл за миллиардные доли секунды. А может, она просто обратилась в свое зеркальное отражение. Или изменила знак, сохранив лишь равенство по модулю. Короче говоря, кулаки Сани сами собой внезапно сжались, и правая рука его, описав дугу, оказалась чуть ниже правого плеча визави тыльной стороной ладони. По трезвянке Саня попал бы своему вселенскому объекту любви прямо в ярое око или ланиту, а тут просто промазал.

Ответ не заставил себя долго ждать. В тот же момент Саня ощутил, как кирпичной твердости кулак молодого родителя резко коснулся его подглазья.

— Ах ты ...дь! — взревел медведем на рогатине Кадило, но второй удар ногой под дых повалил его прямо на грязную снежно-песчаную кашу.

— С..а... — Саня лежал и выл, не в силах подняться и даже разогнуться. Бутылка валялась в пяти шагах от него, и драгоценное содержимое по каплям сочилось из нее.

Этой медленной потери Саня вынести не мог. Резким движением подполз к откупоренной бутылке, отпил еще глоток и, почувствовав прилив сил, встал резко по синусоидной траектории и побрел к двери подъезда.

На подходе к дверям телефон в кармане зло завибрировал. Трясущимися руками он нажал кнопку вызова. На том конце провода сначала раздались какие-то резкие всхлипы, а потом с трудом узнаваемый замогильный голос супруги выдал устало и отстраненно, как бывает после самого сильного нервного потрясения:

— Все. Выкидыш. Сразу провели чистку...

Потом повисла тягостная пауза, после которой совершенно чужой металлический голос нечужого по паспорту человека отчеканил:

— А вообще-то я тебе уже пятнадцать раз звонила...

— Ну, прости... Прости... Маша... Маша... я... я... Не переживай, я пом... пом...поммолюсь...

Но трубка уже не выдавала ничего, кроме частых гудков. На секунду его затрясло, забились в мелкой дрожи руки, влага непрошеной гостьей посетила покрасневшие глаза.

А еще что-то доселе неведомое зародилось внутри него. Он не мог объяснить и понять эту новооткрытую странность — он только стоял в дверях и каждую секунду произносил доселе никоим образом не произносимое имя.

Глава 8. Ничего общего

Маша очнулась к вечеру уже в палате. Немного побаливало внизу, но прежней тягучей и мучительной тошноты не было и в помине. Маша огляделась кругом. Рядом с ней лежала двенадцатилетняя девочка с кукольным личиком, а подле нее на подушке — точь-в-точь такая же, как и она, большая кукла. На тумбочке у девочки лежала початая коробка «Коркунова». Чуть поодаль храпела, чуть посвистывая, какая-то морщинистая старушка, а на следующей за ней кроватью — роскошная бальзаковская дама с поистине кустодиевскими формами. Женщины не разговаривали между собой, не плакали, не травили анекдотов и не фыркали друг на дружку. В постоперационной палате ад был у каждой из них свой собственный, они носили его с собой, но мало-помалу он по капле просачивался в душный и спертый воздух палаты, делая его еще более густым и неподвижным, как сознание перед эпилептическим припадком.

Обнаружив на тумбочке телефон, она торопливо схватилась за него, набрала до боли знакомый номер... Но, кроме редких и тягучих гудков, телефон в эти

минуты не мог подарить ей ничего. Вконец отчаявшись, она властно задвинула аппарат в верхний ящик, потом опомнилась и начала звонить вновь. Наконец, она услышала в ответ какое-то нечленораздельное мычание, сквозь которое она впервые за все время, прошедшее с момента венчания, услышала свое полузабытое имя. После этого она уже не могла говорить. Задохнувшись, она отключила сотовый и, закрыв лицо одеялом, почти неслышно зарыдала.

С этой минуты ее мучили противоположные, антагонистические чувства. Конечно, она тронута была последними словами этого нетрезвого бреда. Однако накопившаяся за эти месяцы усталость, постоянный страх греха и удушающая петля жестокой канонической любви сделали свое дело. Потому эти пьяные слезы супруга были не более чем пьяными слезами, которые мгновенно сохнут в состоянии тяжелого похмелья. А произнесенное с надрывом и надсадой имя лишь на один день отсрочило принятое раз и навсегда решение. Слишком поздно оно было произнесено, хотя и вполне своевременно.

Под утро Маша вконец успокоилась, и уже ничто не могло ее поколебать изнутри. Даже коленопреклоненные мольбы и лежание ниц вчерашнего домашнего тирана.

Глава 9. Разрыв

Больше Маша Сане не звонила. Да и он ей тоже не звонил. Она — потому, что не видела смысла. Он — потому, что был не в можжах.

Когда она узнала о выписке, первый звонок сделала маме. Мама приехала спустя час. Молча обняла дочь, накинула на нее свою купленную по дороге куртку, обула в новые сапоги, и они вдвоем отправились домой на такси.

На другой день Маша отправилась на квартиру мужа. Долго звонила в дверь, пока за нею не раздались тяжелые грохочущие шаги. Дверь растворилась рывком. Саня стоял на пороге в семейниках, качаясь из стороны в сторону, подобно беспокойному маятнику деревенских ходиков.

— О! Жена пр-пришла-а-а, — едва проговорил он заплетающимся языком. — А ты чё это мне не звонила, а? Я те кто, муж или хрен собачий? Ну ты ва-а-ще, меня ни х-хер-ра не уважаешь! Я тут ждал... А ты чё с сумарем?

Маша не проронила ни слова. Властным движением руки она отодвинула в сторону уже бывшего для нее мужа и ринулась в спальню. Саня попытался

догнать ее, но с грохотом рухнул где-то на полпути. Забежав торопливо в спальню, она закрыла дверь на ключ и спешно принялась засовывать в сумку вещи.

Тем временем Саня приподнялся слегка, дополз до двери и принялся ожесточенно молотить ее кулаками.

— Открывай, а то хуже будет! — орал он неистово, с каждой секундой все больше ярясь и свирепея.

Маша не отвечала. Она молча сидела на похолодевшей двуспальной кровати, и лицо ее оставалось таким же каменным, каким стало оно несколько дней назад. Она терпеливо дождалась, пока супруг малость охолонится, сбегает к холодильнику за следующей поллитрой и, выпив, начнет сначала угрожать ей всеми муками ада, а потом умолять ее слезно на коленях.

— Маша, не уходи, — стонал, скрежеща зубами, Кадило. — У нас же всё так хорошо было! Это же искушение, просто дьявольское искушение. Враг рода человеческого...

Наконец, Машу прорвало.

— Пусти! — закричала она непривычно громко. — Пусти, а то сейчас милицию вызову!

И, сделав театральную паузу, разразилась огненной филиппикой:

— Останься, говоришь? У нас все хорошо было?! Может, еще и на том свете с тобой вечно жить?! Хватит — нажилась уже на этом! Тебе нужна была покорная молитвенная дурочка — вот и искал бы где-нибудь в монастыре или ёпучилище! Она бы тебе еще и сапоги снимала, и жопу подтирала в сортире. А ты бы только уму-разуму учил да кадила драил! Вот и ищи себе такую дурищу... Я думала, рожу ребенка — хоть какая-то радость будет у меня. А тут и этого нет. Так на кой мне теперь жить с тобой, олух?! На кой? Ты же в промысл веришь. Так вот я тебе и говорю по-божественному, что Бог меня все-таки пожалел. А то бы мучилась всю жизнь до могилы! Вот он, промысл! Я теперь свободная и незамужняя — понял? Завтра же подаю заявление в ЗАГС!

И она рывком отворила дверь:

— Ну, вали давай, чё вылупился!

Опешивший от такой неслыханной жениной наглости Саня инстинктивно попятился в кухню. Воспользовавшись столь благоприятным моментом, Маша юркнула в прихожую. Дверь квартиры была распахнута настежь — Маша не прощаясь выскочила в подъезд и, не дожидаясь лифта, бегом с десятого этажа устремилась к выходу из дома. Только на улице, отдышавшись, она поняла, что за ней никто не гонится. Она остановилась, полезла в сумочку, достала из нее помятую пачку «Кента» и впервые за эти брачные полгода смачно закурила. Дым приятно щекотал носоглотку и гортань, он был необычайно ароматен и живо напоминал ей о годах ранней молодости, когда она, веселая и разбитная, была объектом романтизированного либидо всей юношеской части курса. И в тот момент ей стало так хорошо, что она задорно и по-девичьи рассмеялась.

Впервые за последние полгода — рассмеялась.

Глава 10. Недоумозаключение

Они разошлись быстро, четко и без лишних слов. Разошлись прозаически — оба вместе подали заявление и поставили подписи без комментариев. Имущество не делили, ибо нажить ничего толком не успели.

Когда я однажды мельком встретил Саню, он был абсолютно трезв и как-то нервно суетлив. Поздоровался порывисто, обронил что-то про развод и, будто боясь моей этической оценки, сослался на цейтнот и быстро попрощался. Напрасно удрал братец Кадило — уже в ту пору я старался не давать никаких моральных оценок чужой семейной жизни. Я не был на его стороне, но при этом моя тайная симпатия к нему несколько не пострадала от его неуклюжих поступков. Да-да, я не оговорился, именно — неуклюжих. Нескелшных, неуклюжих, как его движения, поступков.

Он действительно имел склонность к выпивке — в семействе его, как я слышал, выпивали нешуточно, он дурил по-пьяни, но именно с ним было хорошо выпивать. Ведь не с каждым будешь пить — далеко не с каждым. И не перед каждым ты осмелишься предстать не в самом лучшем своем облике. А выпивка — это и есть попытка хоть перед кем-то стать самим собой. Пусть нехорошим — но самим собой. Быть может, не всем и не всегда это удается, но автору иной раз удавалось.

После этого случая Кадило навсегда исчез с моего жизненного горизонта. Он не появился больше в глубине вечно пахнувшей перегоревшим ладаном

пономарки. И казалось мне, что кадило, висящее справа от входа, каким-то неприметным образом потускнело...

СТЕПАН ДВОЙНОВСКИЙ

Амнезия

Было темно. «Почему темно? Я сплю — вот почему. Но... если я сплю — почему темно? Должны быть сны, хоть что-то. Мне снится темнота? Или я не сплю?..» — она попробовала фокус, который не раз помогал ей во время кошмарных снов: надо только крепко зажмурить глаза и проснуться. Зажмурилась, открыла глаза, но по-прежнему было темно, и не было уже ощущения, что она спит. Она попробовала поднять руки к лицу, но получилось поднять только левую, с правой было что-то не так, затекла, что ли...

Левой рукой ощупала лицо, затем медленно голову: на глазах была плотная повязка, голова чем-то обмотана. Ее замутило, темнота поплыла, и она вместе с ней...

Отец Александр не любил праздник Крещения. Нет, он, конечно, его любил, но не любил. И никакого тут постмодерна, а просто раздражали водоносы. Он пять лет прослужил в соборе, и каждый год с содроганием ждал этот день, день, когда в храме, несмотря на мороз за окном, нечем дышать, потому что набит людьми так, что выходить с каждением перед началом литургии невозможно — задавят. Когда же он служил литургию, то чувствовал себя одуванчиком на полянке, на которую через пять секунд выпустят толпу диких первоклашек...

Нет, тут он чуток преувеличил: на одуванчик он никак не походил — 180 см на 105 кг... Но все равно: освящение воды в соборе было апокалиптическим кошмаром для него, даже почти апopleксическим. Когда он освящал огромный бак с водой, привозимый специально по такому случаю на территорию собора, то народ колыхался вокруг него, давил, жал, гудел, ругался. Не раз он слышал матерные выкрики — слава Богу, не рядом с собой, а то бы не удержался и как дал бы крестом в темя!..

Фух, он вытер вспотевший лоб, улыбнулся и сел на скамеечку. Он знал свой горячий нрав, но Вера Степановна, добрый друг и по совместительству

кардиолог, не раз его предупреждала: отец, следи за сердцем, не нервничай! Тут, в больнице, было намного легче, чем в соборе, — людей меньше, шума практически никакого, да и раздражаться почти не на кого — не на несчастных же больных, которых он ежедневно соборовал да причащал. Одно тут было плохо — 4 этажа, а лифт вечно или не работает, или ремонтируется, поэтому из больничной часовни — комнатки на первом этаже — ему регулярно приходилось ходить то вверх, то вниз по этажам, посещая палаты.

Вот и вчера, на Крещение, он отслужил литургию на крохотном престоле, освятил множество ведер, бадеек и пластиковых пятилитровых канистр — на некоторых из них были приклеены листки: «Кардиология», «Хирургия», «Терапия, второе отделение», чтобы потом пришли медсестры и забрали в свои отделения, не перепутав.

Отец Александр уже привык к этому: больница на то и больница, тут людям некогда ходить на службы: одни работают, другие лечатся. Конечно, кое-кто из персонала и из больных, а также из родственников приходили на службы — вот вчера аж 15 человек было, но обычно было гораздо меньше. Больница стояла на отшибе, жилых домов поблизости не было на пару-тройку километров, только большой лесопарк вокруг больницы, поэтому постоянных прихожан было мало: кому охота ехать сюда в воскресенье?

После освящения воды он пошел совершать подвиг: кропить все помещения больницы, заходить в палаты, брызгать на людей. Это он тоже не очень любил: хорошо в палате у старушек: радуются, улыбаются, кивают, крестятся, благословляются. В мужских же палатах чаще всего встречали с холодком, некоторые отворачивались к стене, один молодой бомж с ампутированными ступнями почему-то в ужасе сжался, забился в угол кровати и заверещал: «Не надо, не надо!».

Отец Александр, несмотря на солидную комплекцию, лысину, рыжую бороду и очки, не чувствовал в себе харизмы — он не любил никому навязываться. Вот и в реанимацию его привычно не пустили кропить: нельзя, не положено! Заведующий реанимацией, Кирилл Петрович, мужчина средних лет, был очень хмурым и неприветливым к священникам и Церкви в целом. Тетя Даша, санитарка и преданная помощница в часовне, как-то выболтала, что Кирилл Петрович в разговоре с другими врачами в курилке очень зло отзывался о попах, мол, «будь его воля, вообще бы их сюда не пускал!».

В реанимацию отца Александра звали очень редко да и то в отсутствие заведующего. За два года служения при больнице, может, раза три-четыре. Но помимо заведующего тут еще была и психология: твердо верующих людей в принципе немного, а в реанимации срабатывает инстинкт: бороться за жизнь. А по народным представлениям, позвать батюшку — значит, сдаться, начать готовиться к смерти. Никакие проповеди и объяснения на людей не действовали: если соборуюешься или причащаешься в реанимации — все, скоро в гроб.

Ольгу опять замутило, она еле успела повернуть голову, и ее вырвало в мерзкую эмалированную посудинку, которую быстро подставила мама. Бедная мама... Она сидела с ней весь день, темные круги под впавшими глазами, страх и виноватость в них. На каждое движение Ольги мама тут же дергалась, пытаясь помочь, поправить.

— Да ладно, мам, нормально, — выдавила улыбку сквозь тошноту дочь. — Ты бы пошла домой, поспала. Тем более папа через пару часов приедет.

Мама замотала головой, кусая губы и одновременно тоже пытаясь улыбаться:

— Ничего, ничего, я не устала!

— Мам, я никуда не денусь, правда. Ну, так вышло... Это же случайность?.. — последние слова застряли между утверждением и вопросом.

— Ну, конечно, конечно, случайность, — мама быстро вытерла глаза. — Олюш, я схожу пока в столовую, позавтракаю, а ты отдыхай, ты отдыхай...

Белая дверь часовни открылась:

— Простите... Сюда можно?

— Можно-можно! — отец Александр оторвался от чистки кадила. — Проходите. Вы что — свечку поставить или воды крещенской набрать? А то в баке еще осталось после вчерашнего.

— А мне бы попа... Батюшка который, — поправилась худенькая женщина, продолжая стоять на пороге и испуганно глядя на толстого рыжего здоровяка в очках, который звенел золотой штуковиной, а в другой руке держал грязную тряпку, воняющую чистящим средством.

— Ну, как бы вот он я, — улыбнулся отец Александр. На него уже не первый раз смотрели тут с изумлением: пономаря в часовне не было, часто даже свечками некому было торговать, он все в часовне делал сам, а когда уходил на потребу в палату, просто оставлял часовню открытой, полагаясь на Бога и честность людей.

— Сейчас, минутку, вы пока присядьте, — он повесил кадило и прошел в соседнюю комнатку, вымыть руки и накинуть подрясник. — Так похож? — он опять улыбнулся, поправляя крест на груди.

Женщина не улыбнулась, но, похоже, поверила. Они сели на скамейку. Пришедшая не смотрела на отца Александра, а бродила рассеянным взглядом по стенам часовни, видимо, плохо осознавая, что видит.

— У меня дочка... Она тут, в реанимации... — женщина сглотнула комок в горле. — В общем, говорят, надо причастить вроде, и еще что-то, для здоровья...

— Пособоровать?

— Да, точно. Это можно?

— Это можно, конечно. А в двух словах: чем дочка больна, в каком она состоянии, верит ли в Бога вообще?

— Она... Она упала с балкона. Нет, — женщина сцепила руки на коленях, пальцы побелели, — не упала — она выпрыгнула.

История оказалась короткой, но драматической. Оля, студентка, будущий юрист, жила уже отдельно, снимала с подругой однушку. Два дня назад ночевала одна, подруга уехала к родителям. Ночью открыла балкон и выпрыгнула. С седьмого этажа. Жива осталась чудом: спасибо нерадивой управляющей компании: давно не вывозили снег — снежная куча под окнами смягчила падение. Но все равно: серьезный ушиб мозга, трещина в черепе, сломана правая рука, переломы обеих ног, но все вроде бы не критично.

— Вот только — она этого не помнит... — посетительница снова стала вытирать набегающие слезы. — Совсем не помнит, она думает, что случайно упала с балкона, поскользнулась, когда покурить вышла. Но она записку оставила, для какого-то Сергея... Так что не поскользнулась... Так вы придете ее причастить?

Такой ситуации в практике отца Александра еще не было. Он пообещал прийти на следующий день, но вечером сел за компьютер и на странице фейсбука задал вопрос собратьям-священникам: что делать? Как поступать, причащать ли суицидника, у которого амнезия? На что ориентироваться: на страшный грех, предшествовавший амнезии, или на амнезию, разделявшую девушку и грех?

Отцы (да и любители побогословствовать) советовали разное. Один, умный и известный проповедник, сказал, что не видит проблем: «Причащай как ребенка!». Другие советовали не спешить, подождать, пока память вернется. Кто-то советовал только молебен пока отслужить, кто-то — ограничиться беседой. Одна ретивая богословица насобираала кучу ссылок на каноны, запутав его окончательно. «Господи, Сам решай!» — и отец Александр лег спать.

— Ну, здравствуй!

— Здравствуйте... — прошептала Ольга, оглядывая толстого дядьку с потной лысиной и в черном одеянии. «Какой... забавный», — подумала она.

В реанимацию отца Александра пустили. Он не стал спрашивать разрешения через мать Ольги: набрался смелости и сам зашел в кабинет Кирилла Петровича. Тот молча выслушал, потом уткнулся вновь в бумаги:

— Хорошо, идите. Только в бахилах и маске!

В маске так в маске. Борода мешалась, поэтому маска нелепо торчала под носом.

— Ко мне мама твоя приходила, — начал отец Александр, тяжело дыша из-под маски.

— Да вы снимите, я же тут одна, неудобно же, — попросила Ольга.

— Ну, я вот так, — отец Александр быстренько обернулся на дверь и воровато стянул маску под бороду. — Если зайдут — я сразу надену, — подмигнул он девушке.

— Мама твоя хочет причастить тебя, — продолжил он, — но я сначала хотел бы тебя спросить...

Ольга посмотрела в сторону двери, потом поманила отца Александра поближе. Когда тот наклонился, прошептала:

— Я знаю. У меня уже нет амнезии — это только для мамы и остальных. Чтобы не расстраивать. Я все вспомнила: сначала был провал, когда очнулась, но потом увидела маму, которая плачет, и все вспомнила... Вы только ей не рассказывайте этого. Я дура, батюшка, я такая дура! Я только тут это поняла — я жить хочу! Я очень хочу жить. Только сломав руки-ноги и пробив голову, я поняла это. А Сергей... — она грустно усмехнулась и повторила: — Я дура...

Они беседовали целый час. Отец Александр сидел, подперев щеку рукой, задумчиво слушал и думал о богословии и о людях. Потом достал епитрахиль и накрыл забинтованную голову.

Да, маску он все-таки забыл вновь надеть, вспомнил о ней, только проходя мимо кабинета Кирилла Петровича. Отец Александр на секунду задумался, огляделся, ухмыльнулся, затем снял маску и повесил ее на ручку двери заведующего.

Пожертвование

Звонок разбудил отца Александра, но звонил не будильник, а мобильник. К таким ранним звонкам (еще нет семи — глянул он на часы) больничный священник привык: постоянно кому-то плохо, кто-то при смерти, кого-то только что привезли после автокатастрофы, или внезапные роды. Родные хватаются за любую соломинку, а так как листки с номером мобильного отца Александра были развешаны в каждом коридоре больницы, во всех стратегических точках, то и звонили ему в любое время суток.

Но сейчас звонили не из больницы, звонил старый товарищ, отец Федор:

— Привет, отец! Прости, не спишь?

— Нет, с тобой автоответчик говорит, он у меня продвинутый, знает, что сказать, — зевая, пошутил отец Александр. — Чего случилось-то?

— Да проблема: можешь меня выручить?

— На потребу? Или отслужить на приходе?

— Не, вот прям щас. Ну, не прям щас, но к 9 утра — надо забрать пожертвование для приюта. А я не могу — Настюха температурит, не с кем оставить, надо врача дожидаться. А забрать надо срочно, а то сказали: не

возьмете, кому-нибудь другому отдадим. Там вещи всякие, вчера в приют позвонили, я подробностей не знаю.

— У меня ж машины нет, ты знаешь. Как я заберу? — напомнил отец Александр.

— Да я помню, но они сказали, что заберут тебя у метро «Динамо», а потом отвезут, куда надо, погрузят и привезут тебя с вещами к нам в приют. Твое дело лишь присмотреть, выбрать на месте — ну, ты справишься, ага?

— МЕНЯ заберут у метро? — уточнил ехидно отец Александр.

— Ну, — отец Федор хихикнул, изобразив смущение, — я просто подумал...

— Да понятно, что ты подумал! Что этому толстому бездельнику полезно прошвырнуться по сугробам до метро, покататься полдня в машине, вместо того чтобы в свой выходной валяться с книжкой на диване и лопать хлеб с салом!

Они оба рассмеялись.

Отец Александр прогуливался взад-вперед у метро, поеживаясь на двадцатиградусном морозе. Уже было начало десятого, но машины все не было: отец Федор скинул ему номер автомобиля, который должен был забрать его, марку, цвет, но ничего подходящего поблизости не было. «Ух, Федя», — притаптывая снег, бубнил про себя отец Александр, плохо видя сквозь запотевшие очки.

Отца Федора он знал давно, еще с сорокоуста, который они вместе проходили в соборе, только отец Федор пришел на неделю позже. Общий сорокоуст сближает: вместе учились служить, вместе обедали, болтали, и когда отец Федор ушел на приход, а отец Александр был оставлен при соборе, то общение не прервалось.

С тех пор прошло больше семи лет, сейчас отец Федор уже год как руководил епархиальным приютом для бездомных. Правда, приют только назывался епархиальным, но тянул его на себе отец Федор: сам искал помещение, помощников, средства на содержание. Пару бомжей с обмороженными и ампутированными ногами отцу Федору подкинул сам отец Александр — он встретил их в больнице: после операции и восстановления им вся дорога

была обратно на улицу. Он пожалел, отвез их в приют. Отец Федор повздыхал, но взял, правда, сказал, что больше не возьмет:

— Сам посмотри: места уже нет, и так на 10 человек лимит превышен, нас прокуратура казнит!

Черная «Ауди» притормозила рядом. Опустилось окно:

— Вы Александр? За вещами? Садитесь скорее, здесь нельзя парковаться.

Отец Александр честно попытался действовать скорее — чуть не поскользнулся на льду, чуть не сронил с носа очки, когда усаживался на переднее сиденье.

— Здравствуйте!

— Добрый день! — отец Александр с удивлением посмотрел на красивую девушку славянской внешности, но при этом в хиджабе. Девушка, в свою очередь, так же удивленно смотрела на него и его черный подрясник, торчащий из-под пуховика.

— Вы батюшка?

— Конечно. А вы...

Девушка пожала плечами:

— Да, я мусульманка. Я не ожидала батюшку встретить.

— А разве не вы звонили в приют? Он же православный.

— Я звонила. Я увидела объявление в интернете, что собирают вещи для бездомных, и позвонила. Я, честно говоря, не обратила внимания, что за приют... Но это ведь ничего? — она с некоторым сомнением спросила отца Александра. — Или вам нельзя от мусульман принимать пожертвование?

— Почему же? — удивился он. — Мы от всех добрых людей помощь принимаем. Тем более для нуждающихся.

— Ну, и отлично, — кивнула девушка, и машина мягко тронулась. — Тогда заедем в магазин, надо купить целлофановых мешков побольше, а то вещей много. А ехать нам в пригород, но это недалеко, там мечеть сразу же, на втором повороте.

Отец Александр только кивнул. В мечети он еще не бывал...

После магазина они стали пробираться по городским пробкам к выезду в пригород. Отец Александр не утерпел:

— Простите, а можно спросить: вы русская?

— Да, — кивнула девушка, — меня Светлана зовут.

— И вы ислам приняли давно? Замуж вышли за мусульманина или..?

Светлана не смутилась, ее серьезные зеленые глаза внимательно продолжали смотреть на дорогу. Она подумала пару секунд, прежде чем ответить:

— Нет, не замуж, я не замужем... Я два года как уже приняла веру. До этого жила как обычно, как все: училась, институт закончила, юридический. А потом стала искать себя, разное пробовала, даже в церковь ходила, но нашла себя в исламе. Там... серьезно. Я познакомилась с некоторыми людьми, они меня познакомили с муллой, в той мечети, в которую мы едем, я стала изучать Коран. Мне понравилось, там люди крепко верят, друг за друга держатся, старших уважают. Не как у нас было... — она помолчала, потом продолжила: — Вы вот скажите: там, в вашем приюте, какие люди, почему они там оказываются?

Отец Александр вздохнул:

— Ну, как оказываются — у всех своя судьба. Кто-то пьянствовал, потерял жилье, потом бродяжничал. У кого-то дом сгорел, документы пропали, человек отчаялся. Некоторые старые совсем, ухаживать за ними некому, вот в приюте и оказались. Есть там дедушка старенький, ветеран войны, так его сын привез и оставил. У дедушки два сына, но один пьяница горький, а другому дедушка не нужен...

Светлана печально, с укором покачала головой:

— Ужасно это... Как такое возможно? Я не понимаю... А вы знаете, почему мы вещи раздаем? Нам их девать некуда: у нас нет бомжей, нет нищих, нет одиноких стариков — люди вещи насобирали, а отдавать некому. А то, что вы про дедушку сказали, — это вообще невообразимо у мусульман! Наоборот: у нас два сына судятся друг с другом за право, у кого будет мать жить! Просто невозможно, чтобы мать или отец остались брошенными, это позор несмыаемый, это стыд для мусульманина! Почему же у православных такое возможно? — почти гневно сказала девушка, останавливая машину у ворот мечети.

Отец Александр только горестно развел руками, вздохнул, но ничего не сказал, стал выбираться из машины. В мечеть он так и не попал: сама мечеть — простой деревянный дом, была закрыта. Они со Светланой прошли в другой, такой же невзрачный домик, в котором было две комнаты. В одной у входа стояло множество цветных тапочек.

— Здесь у нас школа для девочек, — Светлана улыбнулась.

Другая комната была практически полностью завалена тюками с одеждой, причем большинство одежды было запаковано — новое.

— Это из Турции прислали, — объяснила Светлана, — там свитера, трико. А вон там люди принесли, — указала она на разноцветную кучу отличных восточных халатов, курток, джинсов, кофт и прочей одежды. — Выбирайте то, что нужно в приюте, столько, сколько в машину влезет.

Они набили полный багажник, завалили все на заднем сиденье, одну сумку отец Александр поставил себе на колени.

Обратно ехали молча, разговор не складывался почему-то. Отец Александр смотрел на грязный снег вдоль обочин, на серые блочные дома рабочего района, мимо которых они проезжали.

В приюте два помощника быстро разгрузили машину. Светлана сослалась на дела, заходить в приют и даже выходить из машины не стала.

— Всего доброго, — вежливо кивнула она отцу Александру, собираясь выезжать с территории приюта.

— Спасибо вам за помощь, — сказал он.

Светлана пожала плечами:

— Не за что: Аллах велит помогать нуждающимся.

Отец Александр посмотрел вслед «Ауди», потом вынул телефон — надо позвонить отцу Федору, отчитаться. Потом пошел на остановку.

Дома он достал из-под куртки аккуратно запакованный свитер — один из той огромной кучи, турецкий. Светлана предложила ему взять себе. Он взял. На память.

Воскресение

Ключ уже поворачивался в замке, когда зазвонил мобильник. Отец Александр обреченно вздохнул.

— Да?.. Конечно. Совсем плоха? Что же вы раньше не позвали? Да, приду, в течение часа, — он отключился и с тоской посмотрел на открытую уже дверь своей квартиры. «Прощай, обед», — мысленно помахал он рукой холодильнику, потом закрыл дверь и стал спускаться с пятого этажа. В хрущевке, где он жил, лифта не водилось отродясь, поэтому регулярный моцион был только на пользу. «Ага, и поголодать тоже на пользу, — думал отец Александр, спеша обратно в больницу. — Но ничего, завтра уж наемся. Сала обязательно. Яиц... Мож, даже колбасы...»

Страстная проходила как всегда: в службах и трудах. В Великую Среду он устраивал общее соборование, для ходячих и персонала. Часовня была маленькая, поэтому все желающие семи помазаний не помещались в ней. Выход нашли простой: поставили столик в рекреации под пыльной пальмой — там места была достаточно.

Помазать семь раз человек сто было нелегким делом... А потом были службы Великого Четвертка и Великого Пятка, в промежутках — опять соборования, но уже персональные по палатам. Там отец Александр честно халтурил: благо, не так давно официально приняли сокращенный чин соборования, услышав вопли и стенания больничных священников, которые страдали, вычитывая по полтора часа все семь Евангелий и Апостолов, а также семикратные молитвы, втиснувшись в узкие проходы между кроватями, в душных палатах, под храп или стоны соседей и недовольные взгляды медсестер, которым батюшка не дает заниматься делом, бормоча тут нечто невразумительное. Но вот сокращенный чин — это спасение, соборование за 10 минут — слава тебе, богослужебная комиссия, во веки!

Но уже к Великой Субботе отец Александр подустал, все время на ногах, одышка, ноги стали отекают, сердце пошаливать. Отслужив литургию Великой Субботы, он по обычаю стал освящать куличи и яйца. Люди, тоже по обычаю, не желали приносить свое добро в указанное в расписании время: они все приходили и приходили, когда им вздумается. Раз три он готов был уже снять епитрахиль и исчезнуть, хотя бы час-два полежать дома, может, вздремнуть, перекусить, но люди перехватывали его, и он снова смиренно взмахивал кропилом. Потом все-таки смог сбежать и даже успел добраться до входной двери своей квартиры...

Бабуся была совсем плоха. Вот прям совсем. Судя по ее сморщенности и беззубому запавшему рту, ей было лет сто, ну, или около того. Разумеется, ни о какой исповеди уже речи не шло, глаза у бабушки закатились, дыхание с хрипом вырывалось еле-еле, рот был безвольно открыт. Дочка, позвавшая священника, сама уже вовсю бабушкинского вида, уверила, что раба Божья Зоя (так звали умирающую) вполне себе была православной и даже в храм ходила в своей далекой деревне.

Отец Александр прочитал молитвы, потом положил старушке на язык мельчайшую крошку Святых Даров, полив обильно кагором из маленькой бутылочки. Попытался закрыть ее рот, чтобы она сглотнула, — вроде бы получилось. А то не раз уже бывали казусы, когда звали причащать умирающего, а тот не может сделать глотательное движение, начинает выталкивать онемевшим языком причастие изо рта.

Маленькая струйка кагора стекла из уголка рта причастницы. Как кровь.

Отец Александр стал читать отходные молитвы. Ну вот, теперь и умирать можно старушке. На Пасху — самое то. Так говорят.

Пасхальная служба удалась на славу. Крестным ходом прошли по всем этажам больницы. Каильный дым заполнял все коридоры запахом роз, который так любил отец Александр. Все, кто мог вставать, выходили в коридор, крестились, некоторые подпевали медленному торжественному гласу: «Воскресение Твое, Христе Спасе... Ангели поют на небесех... И нас на земли сподо-о-о-оби»...

Потом радостный Пасхальный канон, постоянные «Христос воскрес! — Воистину воскрес!!!». После службы освятили куличики-калачики, яички-колбаску, сдвинули столы и лавки и устроили чаепитие для всех. Помогали певчие и две дежурные медсестры. К сожалению, вечная помощница отца Александра, тетя Даша, уже две недели как лежала в другой больнице, делала операцию на глаза.

Накушавшись колбасы, яиц и куличей, довольный и жутко уставший отец Александр все же добрался до своей кровати, рухнул и спал чуть ли не до вечера.

Понедельник начался странно. Не успел отец Александр в восемь утра открыть часовню, как появилась пожилая толстущая цыганка в засаленном халате, но с огромными золотыми серьгами в ушах.

— Ай, батюшка, дарагой! — бросилась она на него, схватила руку, смачно поцеловала три раза, потом положила себе на голову, закатив глаза. Отец Александр опешил, попытался высвободить руку, но цыганка не отпустила, держа в руках его ладонь, она ласково напирала на священника огромной грудью: — Батюшка! Памались и за меня, и за детей моих всех памались! И за внуков памались, чтоб не болели! А то младший — его Медведем звать — все ушком-то болеет! Чтоб никто у нас не болел, а, батюшка?!

— Ну... Пусть не болят, помоги, Господи... И Медведю тоже, всего этого... — отец Александр отступил к стене. Несмотря на его рост и вес, цыганка имела преимущество в напоре.

Потом косяком пошел народ: одни ставили свечи, косясь на священника, как на розового пони дети, — восторженно и недоуменно. Другие писали записки, потом протягивали отцу Александру и глупо улыбались, смотря ему в глаза или оглядывая с головы до ног.

«Скорлупа у меня, что ли, в бороде?» — подумал он, провел рукой, проверил: вроде ничего.

Потом его позвали причастить ребенка. Он пошел, причастил. Все мамочки в палате смотрели на него выжидающе, как на главврача. Попросили причастить и их детей тоже. Один оказался некрещеным, правда.

Потом его позвали причастить бабушку. Потом — дедушку. Потом он причастил 11 человек, поражаясь всплеску духовности в больнице. «Ну да, Пасха, все хотят светлой пасхальной радости», — попробовал он объяснить себе статистический скачок в шкале больничных причащений. Пасхальной радости хотели не только причастники: другие пациенты глазели на батюшку, улыбались, кто-то скептически, но в основном приветливо.

Медсестры странно перешептывались, когда он проходил мимо. Отец Александр был интроверт и не любил необъяснимое внимание к своей персоне, тем более он же в больнице не впервые, все его тут давно знают. Он даже зашел в туалет и внимательно осмотрел себя в зеркале: нет, не испачкан, ничего не оторвано, даже борода вполне прилично торчит. Ну, потная лысина сверкает, но это не повод таращиться.

На первом этаже отец Александр столкнулся, наконец, с тем, кто ему не улыбался. Пожилая женщина отпрянула от него, посмотрела с нескрываемым испугом и почти ненавистью, быстро прошла мимо, волоча за собой большую сумку.

«Где-то я ее видел, — подумал он. — А, так это дочка той старушки, которая помирала. Значит, померла... Отмучалась. Теперь лежит в морге телом, а душа уже на небесах. А дочка вещи домой потащила. Только что на меня так сердито смотрела? Я же сделал все, что мог»...

— Отец Александр, Христос воскрес! Пойдемте ко мне — я вам чаю налью, отдохнете у меня! — Вера Степановна, кардиолог и друг батюшки, радушно поманила его в свой кабинет, когда он проходил мимо, отдуваясь и вытирая пот с лысины.

— Ох, зайду... — он почти рухнул в удобное кресло, взял чашку с прекрасным китайским (настоящим) чаем, другой рукой потянулся за заварным пирожным.

Вера Степановна была дамой лет шестидесяти, с модным седым бобриком, сухонькой, но моложавой и всегда в благодушном настроении. Она с первых дней служения отца Александра в больнице заметила его, полюбила и всячески опекала, как родного сына. При этом сразу ему заявив, что атеистка и в аду ей будет веселей.

Вера Степановна присела рядом, подмигнула:

— Ну, рассказывайте! Как у вас это вышло, а? Молитвы особые знаете, или впрямь Он есть?

Отец Александр недоуменно посмотрел на улыбающуюся Веру Степановну:

— Не понял... Вы про что? Какие молитвы?

— Ха, такой смиренный, или правда не в курсе? Да вся больница только о вас и гудит! Так и говорят: «Батюшка-то наш — чудотворец!».

Из рассказа Веры Степановны выяснилось, что та старушка, которой он прочитал отходную, вскоре после его ухода открыла глаза, а потом повернулась на бок и заснула. Утром, на Пасху, она проснулась, села на кровати и сказала громко: «Хочу кушать!» Потом потребовала найти ее дочь, наругала ту и велела забирать ее из больницы, потому что «делать ей тут

нечего, валяться как колода!». И старушка своим ходом ушла из больницы в понедельник утром...

На следующий день отец Александр отправился к благочинному, написал прошение на недельный отпуск, попросил послужить вместо себя заштатного протоиерея. Сам же, взяв лишь рюкзак, уехал в дальнюю уральскую деревушку, откуда был родом, чтобы побродить по горам и побыть немного одному.

Порча

Не успел отец Александр переступить порог часовни, как на него накинута тетя Даша:

— Ой, батюшка Алекса'! Да что ж такое творится! Ой, миленькай ты мой! — захлопала она озабоченно, уцепившись за его руку.

Тетя Даша была незаменимым ингредиентом часовни. Ей было уже 70, она много лет работала санитаркой в кардиологическом отделении больницы, но сейчас выходила работать на треть ставки, обычно подменяя кого-то из молодых. В оставшееся время она помогала отцу Александру в часовне: утром приходила первая, мыла полы, протирала пыль, днем частенько сидела в качестве свечницы, вечером вновь мыла полы и закрывала часовню. Отца Александра она безмерно уважала, одновременно горячо, матерински обожая: регулярно приносила ему пирожки, супчику в пол-литровой баночке, чтобы «батюшка не голодал».

Верой она отличалась пылкой, больше всего верила в святителя Николая и великомученика Пантелеимона, а также в акафисты им.

— Что случилось, тетя Даш? Нас ограбили, подсвечник уперли? — пошутил отец Александр.

Тетя Даша махнула рукой:

— Какой свечник, батюшка! Люди злые, что творят, а?! Ты только посмотри, миленькай, что натворили! — она потащила отца Александра к аналою, подняла икону — под ней лежали обрывки какой-то фотографии. — Ведь это порчу наводят! Ведьма какая-то натворила бесовщину! И когда только успевают? Наверное, вчера подсунули, только как узнаешь — кто?! Заходили

несколько человек, брали свечки, не уследишь ведь за каждым! — тетя Даша сжала в праведном гневе кулак. — Ух, я б ее!

— Да успокойтесь, тетя Даш. Не обращайтесь просто внимания, ну, глупые люди, — сказал отец Александр благодушно, сгреб обрывки фотографии в ладонь, сыпал себе в карман.

— Сжечь это надо, батюшка Алекса'! — не унялась тетя Даша, тяжело дыша и присаживаясь на стульчик. — Сжечь эту бесовщину! Так полагается, иначе плохо будет!

— Ладно, ладно, — отмахнулся отец Александр с улыбкой, — мне крестить пора идти в детское отделение, тороплюсь я.

— Ох, пойду я акафист Пантелеимушке почитаю, — покачала головой тетя Даша, — пущай заступает, милый...

После крещения отец Александр задержался в детском отделении: поговорил с одной мамочкой по поводу крещения, потом с другой. Каждой приходилось терпеливо вталкивать, что крещение — это не для здоровычка, и не «чтоб ангела-хранителя», который опять-таки не для того, «чтоб ребенок не болел», и что для начала самим мамам надо бы задуматься, верят ли они вообще в Бога. Одна мама внимательно выслушала объяснения, согласилась, попросила принести что-нибудь почитать о вере. Другая, напротив, надулась, что батюшка тут же не кинулся крестить ее «мальчика» — пятнадцатилетнего здоровяка, сломавшего ногу на хоккейной тренировке, который во время разговора скептически косился на них, иногда отрываясь от смартфона.

Потом отец Александр пил чай с заведующим детским отделением. Тот всячески приветствовал наличие отца Александра в отделении, давал ему всюду зеленый свет, постоянно звонил сам, когда в реанимации были тяжелые случаи с малышами-отказниками.

Потом еще было причастие старушки в кардиологии, потом соборование в хирургии... Усталый отец Александр освободился только к семи вечера. Тетя Даша уже вымыла полы и ушла. Отец Александр повесил епитрахиль, убрал в шкаф требник, выключил свет. Перед выходом он порылся в кармане в поисках ключа, наткнулся на клочки бумаги. Забыв уже, что это, он высыпал обрывки фотографии в мусорное ведро, закрыл дверь и отправился домой.

Когда на следующий день отец Александр переступил порог часовни, он понял, что тетя Даша вышла на тропу крестового похода, вырыла духовный томагавк: она стояла на коленях перед иконой Пантелеимона, громко читая акафист и поминутно бухаясь головой в пол из крупных серых плиток. Услышав шорох, она заохала и с трудом встала:

— Батюшка Алекса!! Ой, миленькай!..

— Ну, что опять? — погладил он ее по плечу.

Лицо тети Даши было в слезах, будто умер самый близкий родственник. Она всхлипнула и прижалась к отцу Александру, потом потащила его к скамейке:

— А вон что, миленькай! Беда! И кто ж так посмел-то!.. На отца духовного! На батюшку, а?.. — она всплеснула руками, жалобно глядя на отца Александра.

На скамейке лежали вчерашние кусочки фотографии, которые он выкинул в ведро. Но лежали они не просто так: тетя Даша, аки новый Шерлок Холмс, сложила кусочки друг к другу — и на фото отец Александр с удивлением узнал... себя.

— Нда, — хмыкнул он, — забавно. Развлекается кто-то.

Фотография была сделана на мобильник, здесь, в коридоре больницы. Где точно, понять было трудно, — фотография была плохого качества, но себя он узнал без труда: в епитрахили, очки сверкают от падающего света из окна.

— Порчу на вас наводят, батюшка Алекса, — упорно продолжала свое тетя Даша, — враги у вас есть! Делать вот что надо: во-первых, воды крещенской попить, умыться тоже хорошо! Потом надо молебен за здоровье о себе отслужить! Или нет: я за вас записку подам, а вы отслужите! С акафистом Николаю, Пантелеимону и... и всем Силам Небесным! — тетя Даша явно обрадовалась, что нашла решение. Но отец Александр поморщился:

— Да плюньте вы, тетя Даша, — не верю я во всю эту ерунду!

— Вы не верите — зато бесы верят! И колдуны знают — зря бы не стали порчу наводить! Не дай Бог — заболееете или еще чего похуже!

— Теть Даш, ну стыдно вам...

Но тетю Дашу было не сломить:

— Стыд не дым: сам не рассеется! А вот акафистов бесы боятся! Я старая — я знаю!

С трудом отец Александр отбился от праведных предложений тети Даши, собрал требный чемоданчик и ушел на соборование.

Когда он вернулся с требы, то остановился за дверью, тихонько заглянул внутрь: тетя Даша стояла на коленях перед иконой святителя Николая и снова норовила пробить головой дыру в полу. Он вздохнул, потом скосил глаза: прямо на уровне глаз в дверном косяке торчала иголка. «Да что вас... слоники защекотали!» — он выдернул иголку, посмотрел: не заметила ли тетя Даша. Теперь он был внимательнее: завернул иголку в листок из блокнота, вышел во двор больницы и выкинул артефакт в мусорный контейнер.

На следующий день, как обычно по средам, был молебен о здравии. Тетя Даша не удержалась и подала записку: «О здравии порченного иерея Александра». Отец Александр чуть не подавился, когда нужно было читать эту записку.

На молебне было шесть человек. Когда все подходили к кресту, то случился странный казус: пятеро поцеловали крест и отошли, а последняя, миловидная женщина средних лет, с большим золотым крестом поверх кофточки и крупным родимым пятном на подбородке, крест целовать не стала, только наклонилась к нему, а потом вдруг положила руку на плечо отцу Александру, погладила три раза и с улыбкой тихо произнесла:

— Здоровья вам, батюшка! И вашей мужской силе!

Пока отец Александр открывал рот, чтобы как-то среагировать на это пожелание, женщина успела выйти.

«Странный народ», — подумал священник. В маленькой часовне было жарко от свечей и отопления. Треб пока не было, и он решил пойти прогуляться в больничном парке, подышать свежим воздухом, а то одышка совсем замучила. Он оделся, спустился вниз. Но как только вышел в парк, его окликнули:

— Батюшка, подождите! — его догоняла девушка, на больничную пижаму она набросила пальто, на ходу кутаясь в него. — Можно с вами поговорить?

— Да, разумеется, — он приглашающим жестом указал на свою любимую тропинку. — Пройдемся? Что у вас случилось?

Девушка вместо ответа обернулась, посмотрела вверх, на окна — видимо, осмотр ее удовлетворил:

— У меня ничего, но вам, я думаю, это надо знать. Понимаете, я в гинекологии лежу, со вчерашнего вечера. И услышала разговор: одна соседка жаловалась другой, что вы плохой бабушка: она приходила к вам в часовню купить свечей, которые ей надо было отнести к одной целительнице, чтобы та прочитала ей заговор, а вы, мол, свечек не продали, да еще отругали, сказали, что грешно к бабкам ходить.

Отец Александр поскреб бороду, порылся в памяти:

— А, вроде да: на прошлой неделе приходила одна с этим. Молодая такая, невысокая.

— Да, это она, Вика. А сегодня утром к нам в палату приходила эта целительница, и они шептались...

— Хм... И родинка у этой целительницы на лице?

Глаза у девушки расширились:

— А как вы?..

Отец Александр подмигнул:

— Святые заступники у меня есть, они мне всю правду раскрывают! В какой вы палате лежите?..

В дверь палаты № 8 постучали.

— Здравствуйте, девушки! — на пороге появился отец Александр, весело улыбающийся, в одной руке он нес большой торт, в другой — свой требный чемоданчик. Он напрямик проследовал к кровати, на которой, поджав ноги, сидела женщина с романом Донцовой в руке. Книга выпала у нее из рук, женщина судорожно натянула на себя одеяло, до самого подбородка. Две другие соседки онемели.

Отец Александр поставил торт на тумбочку, чемоданчик — на табуретку:

— Ну что: чайку попьем и побеседуем или сразу будем акафист читать?..

КСЕНИЯ ВОЛЯНСКАЯ

Ангел городка Чекистов

Странная была эта новая дорога в школу. До переезда Дуня шла по хорошей дороге — на ней были удобные тени от фонарей. А на этой, новой — перепутанные тени от деревьев, через такие по правилам не переступишь, ноги места не хватит. И обойти никак. Неприятно было и почти страшно. Хотя школа-то осталась та же самая. Но вот эта новая дорога — нехорошая была. И было ясно, что сегодня все будет плохо.

Так и получилось. На труде Дуня получила двойку — потому что, вместо того чтобы пришить маленькую пуговицу, выбрала большую. А потом ножницы не хотели слушаться, и кругло вокруг пуговицы обрезать не получилось. Получилась некрасивая блямба.

Обратно Дуня возвращалась с подружкой Лизой и ее мамой. Они обычно провожали ее до подъезда, звонили в домофон, и мама ее впускала. Им было по пути. Но после переезда вроде бы не совсем и по пути стало. Но Лизина мама сказала, что ничего, они Дуню все равно проводят, она обещала Дуниной маме. Заодно зайдут в пекарню за макаронами. Дуня не знала, что это за макаруны такие, но спрашивать не стала. Может, это такое же простое слово, как макароны, и все его знают, кроме нее.

Пока шли, Лизина мама все время с кем-то говорила по телефону. А Лиза рассказывала Дуне, какую суперскую монстер хай ей подарят на день рождения — она уже выбрала, и мама обещала. Ее зовут Ривер Стикс и она дочь Мрачного Жнеца, у нее голубые волосы и прозрачные ножки, в которых просвечивается скелет. Дуня сказала, что это супер. Лиза спросила, есть ли у Дуни монстер хай и какие.

— Нет, — сказала Дуня. Ей очень хотелось заплакать, но не при Лизе.

— А почему? — не отставала Лиза.

— Нипочему, — тихо сказала Дуня.

На самом деле «почему» было. Мама сказала, что через эти куклы к Дуниной душе подберутся нечистые духи.

— Потому что эти куклы страшные, таких людей не бывает.

— Ну и что, они хорошие, про них столько всего написано интересного, все в них играют, у меня одной нет, — не унималась Дуня.

— Я тебе уже сказала, — раздраженно прикрикнула мама, — никогда в жизни я не куплю подобную гадость своему ребенку. А если ты будешь их брать в руки, нечистые духи войдут в твою душу, ты этого хочешь?

— А как войдут? — спросила Дуня.

— Какая разница, как. Спроси у отца Николая, он тебе скажет. Только не забудь ему на исповеди сказать, как ты мать изводишь и требуешь купить тебе дьявольскую куклу.

Интересно, думала Дуня, вошли ли они в Лизину душу? С виду у нее все хорошо.

Нечистые духи представлялись Дуне грязными щуплыми мальчишками вроде Пачкули Пестренького из Незнайки.

Они дошли до Дуниного двора. Мама сидела на скамейке с книжкой. В песочнице сидел с самосвалом Мишутка, Дунин младший брат. Лизина мама подтолкнула легонько Дуню в ворота.

— Ну, пока-пока? Маме привет.

Дуня сказала:

— Спасибо, я передам. До свидания. Спасибо, что проводили.

Мама подняла голову от книжки, только когда Дуня подошла совсем близко. Надо было сразу сказать про двойку по труду, но Дуня не смогла. «Потом скажу. Или пусть сама увидит в дневнике, а я скажу, что не видела. Скажу, что старалась, а мне ни за что двойку поставили. Хотя ясно, что мама скажет: ни за что двойки не ставят. Так что сегодня никаких мультиков. Это еще если не накричит».

— Дуня, тебя Кузнецовы проводили?

— Проводили.

— Как в школе? Оценки есть?

— Все нормально.

— Ладно, давай посиди тут с Мишуткой, а я пойду с обедом закончу и есть вас позову.

Мама забрала у Дуни рюкзак (хорошо, если не будет рыться) и ушла.

А Дуня села на край песочницы и стала смотреть на братика. Он строил какое-то сооружение из песка, на Лизу внимания не обращал, бубнил что-то под нос.

Дуня напридумывала Мишке множество смешных имен. Маму это раздражало, она говорила, что у человека одно имя — которое дали при крещении. Поэтому смешными именами Дуня называла братика только наедине.

— Эй, Мартыпеночкин Тимось, привет!

Мишка обернулся, увидел Дуню и сказал:

— Я завод стою.

— Завод — это хорошо, Гуська-Пух! Иди, я тебя поцелую!

Мишка, конечно, целоваться не пошел. Встал из песка и залез на деревянную оградку песочницы.

— Тепей буду завод язушать!

— Давай я тебе помогу, — сказала Дуня. Она уже видела, как Мишка разрушает свои сооружения из песка — прыгает на них сверху, а потом ногами разбрасывает то, что осталось.

Дуня поднатужилась, подхватила Мишку и подняла повыше, стоя на оградке, а потом он как-то вдруг вывернулся у нее из рук, упал и страшно заревел.

Дуня застыла от страха. Что она такое могла сделать, ведь тут совсем невысоко падать!

Но оказалось, что Мишка, падая, прикусил язык, очень больно, даже кровь во рту была видна.

Мама выскочила на Мишкины вопли, подхватила его на руки и понеслась домой, а Дуня бежала за ними.

— На минуту нельзя оставить, взрослая же девка, — зло задыхаясь, говорила мама.

Дуня тоже редела у себя в комнате, да только на ее плач никто не обращал внимания. Потом мама зашла, наорала за двойку, обнаруженную в дневнике, сказала:

— Ты наказана. Сиди, делай уроки. Потом считаешь детскую Библию — и спать. Помолиться не забудь.

И громко закрыла дверь, почти что хлопнула.

Мишутка потом пришел ее пожалеть. Язык у него все еще болел, Дуня его обнимала, целовала, беленького, уютного, хотела, чтобы он с ней посидел, сказки вместе почитать. Но мама пришла и Мишку забрала:

— Сказано — занимайся.

Дуня сделала кое-как математику, плохо, с исправлениями, выдрала страницу, снова все примеры сделала, вроде нормально. Села в кресло с ногами, взяла детскую Библию и стала читать. Ну, как читать — глазами по строчкам бегать.

Глаза бегут, а голова свое думает. А потом Дуня слышит мамин громкий голос, как она, видимо по телефону, кому-то рассказывает и опять будто задыхается:

— Ты представляешь, кошмар какой! С сестрой ребенка оставила, а она его уронила! И он язык прикусил, плакал не знаю сколько, ужас просто. А потом говорит и заикается страшно! Он ведь недавно лучше стал говорить, слов все больше и больше стало, а теперь еле-еле, и заикается ужасно, не мог сказать два слова!

Мама говорила что-то и говорила, и задыхалась, и Дуня знала, что сейчас она будет пить корвалол, а потом перед сном снова придет ругаться и стыдить ее.

Дуне было так плохо, что хотелось исчезнуть в той маленькой щелке между половицами. Стать маленькой, и чтобы никто ее там не нашел. А она бы там жила. Вот без мамы она бы выбиралась и снова становилась большой и играла бы с Гуськой Пухом. А как мама зайдет — снова в щелочку. А Мишка бы ей туда крошки носил от булочки, ей бы хватало. А пить захочется — добежать ночью до кухни, попить — и обратно.

Утром мама подняла Дуню в школу, опять недобрая. Говорила отрывисто: «Иди завтракать», «Придешь в школу — не забудь позвонить».

— А Мишутка как? — спросила Дуня уже на пороге.

— Я даже не хочу говорить об этом, — глаза мамы наполнились слезами, и взгляд сделался страшный, как у Снежной королевы. Только Снежная

королева замораживала, а мама будто испепелить Дуню хотела. — У тебя еще хватает совести спрашивать: он, бедный, теперь говорить нормально не может, к врачу опять надо, а тебе без разницы!

Дуня подумала, что все, что случилось, — из-за переезда. Когда она по утрам правильно переступала через все тени — все было хорошо. А теперь через них никак нельзя правильно переступить, хочешь — не хочешь, а задеваешь, от этого и беды. Сначала — двойка, потом Мишка упал.

На этот раз Дуня решила во что бы то ни стало идти правильно, поэтому путь получился длинный и утомительный — нелегко ногу пристраивать в маленький островок света в окружении теней. Шла-шла, а потом какая-то маленькая тетенька в розовой шапке говорит:

— Девочка, у тебя все хорошо? Тебе помочь?

Дуня удивилась:

— Спасибо, я просто в школу иду.

— Тебе помочь, проводить, может?

— Спасибо, я сама, — сказала Дуня.

Потом она уже торопилась изо всех сил, потому что глянула на часы, а уже десять минут до урока. И получилось, что эта тетенька, которая спрашивала, не надо ли ее проводить, шла прямо перед ней. И на пешеходном переходе они вместе стояли. Розовая Шапка покосилась и говорит:

— Девочка, а ты тут живешь, в городке Чекистов?

— Нет, — сказала Дуня, — я там живу, — и махнула рукой в сторону своего дома, желтой облезлой пятиэтажки.

— Так это же и есть городок Чекистов, — сказала Розовая Шапка, — ты не знала?

Дуня помотала головой и быстро ушла вперед.

Почему-то ей не понравилось, что ее дом в городке Чекистов. Она их представила себе дядьками, которые сидят на кассах и выдают всем чеки. Но в Пятерочке, например, куда они чаще всего с мамой заходили, на кассах всегда были тетеньки, а дядьки ходили туда-сюда в черной одежде — сторожили Пятерочку от воров. Поэтому непонятно было, что за чекисты собрались в этом городке, может, они, как маньяки — нападают из кустов.

В этот день Дуня шла из школы одна — Лиза заболела. Мама по телефону сказала, чтобы она нигде не задерживалась, а на светофоре смотрела налево, даже если загорится зеленый.

Мамин голос был какой-то железный и неприятный. Дуня хотела спросить про Мишутку, но побоялась.

Она шла и думала, как быть с братиком, чтобы он не заикался. Понятно было, что его надо причастить (мама всегда так говорила, когда Мишка или Дуня болели), но до воскресенья, когда они все вместе пойдут в храм, было еще три дня.

Только Дуня перешла дорогу, как увидела справа на толстой колонне белого Ангела. Ни позавчера, ни вчера его тут не было, он появился только что!

«Наверно, кто-то его нарисовал прямо сейчас», — подумала Дуня. Она подошла поближе и увидела, что Ангел был уже старенький — краска сухая и уже облупливалась. А посреди колонны даже шла трещина, она пересекала живот и руку Ангела. Ангел явно знал, что произошло с Мишуткой, — иначе он не появился бы перед Дуней так внезапно, когда она думала, как спасти Мишку, чтобы он не стал заикой.

Дуня подошла совсем близко, оглянулась по сторонам — все бежали по своим делам, никто на нее не смотрел. Тогда она прислонилась к Ангелу головой и сказала:

— Пожалуйста, пусть Мишутка перестанет заикаться.

Дуня постояла еще чуть-чуть, прижавшись головой к ангельскому боку, а потом побежала домой. Сегодня день был лучше, чем вчера, — двоек не было, была даже пятерка по литре, за Есенина.

Шли дни за днями, но все было по-прежнему. Мама стала водить Мишутку на причастие еще и на неделе, но ничего не менялось. Говорить он стал совсем мало, потому что кому приятно застревать на начале слова, — даже «машина» он сказать не мог, получалось ма—ма, ма—ма, а потом Мишка обиженно складывал губы подковкой и замолкал. Мама все время была сердитая, на Дуню то кричала, то просила у нее прощения и читала им с Мишкой перед сном Андерсена.

Дуне нравилось слушать Снежную королеву. А потом мама читала сказку про то, как девочка попала в ад из-за того, что наступила на хлеб, и эта сказка Дуне совсем не понравилась — недобрая.

Потом мама водила Мишку к какому-то врачу, который выписал кучу таблеток, но от них тоже проку не было. «Коту под хвост», — сказала мама о деньгах, потраченных в аптеке. Целый месяц пили и «не в коня корм». Приехал из командировки папа, очень сердился, что Мишка заикается.

Когда он уезжал, Мишутка говорил предложениями, а теперь едва-едва два слова подряд мог сказать, и то мучился. Папа считал, что мама не может даже присмотреть за ребенком, хотя сидит дома. Непонятно было, почему он сказал «сидит». Мама сидела только на лавочке во дворе, и то, когда Мишка игрался спокойно, а чаще с другими мамами разговаривала, они туда-сюда ходили и «одним глазом» за детьми следили. А дома мама почти и не сидела — то готовила на кухне обед, а потом ужин, то стояла и гладила белье и смотрела какой-нибудь сериал. Правда, это не при Дуне, а когда Мишка спал, а Дуня у себя в комнате рисовала. Когда Дуня выходила из своей комнаты, мама сразу сериал выключала. Видно было, что ей неприятно, что Дуня ее застала за сериалом.

Когда вечером папа зашел Дуню поцеловать на ночь, она спросила:

— А правда мы живем в городке чекистов?

— Да, — сказал папа, — так это место и называется. Для чекистов когда-то строили.

— А они кто? — спросила Дуня.

— Ну-у-у, — папа немного задумался, потом сказал: — Это люди такие были, они защищали страну от всяких врагов.

Дуня поняла так, что чекисты к чекам отношения никакого не имели и были хорошие, — ну и ладно.

Через несколько дней папа опять уехал в командировку, вернее, улетел. Папу звали Гена, и мама придумала ему прозвище «Летучий геннадец», потому что он постоянно летал по разным городам.

Дуня по-прежнему, проходя мимо Ангела на колонне, просила его вылечить Мишутку от заикания. Бывало, конечно, и забывала, но тогда перед сном представляла его себе и говорила: «Ангел, Ангел на колонне, пусть Мишутка перестанет заикаться».

Один раз Дуня проснулась утром и решила, что надо написать записку, как делают в церкви. Она написала: «Ангел, вылечи, пожалуйста, Мишу. Твоя

Дуня». Она положила записку в карман пуховика и, когда шла в школу, запихала ее в щель — ту, которая пересекала бок и руку Ангела.

Ангел еще немного облупился, Дуня заметила, что его глаза, которые раньше были намечены серой краской, совсем смылись дождем. Теперь он был слепой, и непонятно было, видит он Дуню или нет и смог ли прочитать ее записку. Так что она продолжала шептать свою просьбу почти каждый день — кроме выходных и каникул, когда не ходила в школу мимо Ангела.

Как-то в субботу она гуляла с Лизой во дворе, и решила уговорить ее дойти до Ангела.

— Нам же не разрешили уходить из двора, — сказала Лиза.

И тут Дуня рассказала ей про Ангела.

— Мне надо к нему сходить, я уже три дня его не видела и не просила, — объяснила Дуня.

— Фигня какая-то — этот твой Ангел, — сказала Лиза. — Это просто кто-то нарисовал, и он ничего сделать не может. Он же не в церкви даже.

На уроках православной культуры им уже рассказывали про чудотворные иконы, и как им надо молиться в церкви, так что про это отличница Лиза, у которой была вовсе не верующая мама, хорошо знала.

А Дуня не могла сказать, почему она верит Ангелу, и поссорилась с Лизой.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она, — и я одна без тебя могу пойти.

— Это ты ничего не понимаешь! — крикнула ей вслед Лиза противным голосом. — И мне с тобой скучно, у тебя даже нет монстер хай нет!

Дуне хотелось заплакать, горло перехватило, будто кто-то душил, стало больно и страшно, и с этим задушенным горлом и сухими глазами она пошла к Ангелу. Уже темнело, повалил снег, улица была пустая, только редкие машины проносились сквозь белую муть.

Дуня прислонилась к животу Ангела головой и, наконец, смогла шумно и с каким-то скрежетом вдохнуть и выдохнуть, а потом заплакала, подвывая. Никто ее не видел, никто не слышал, кроме Ангела.

А когда она, вся облепленная снегом, с ледяным жалким лицом вернулась домой, мама не стала ругаться, а бросилась Дуню раздевать, загнала под горячий душ, потом уложила в кровать и принесла чай с имбирным сбитнем.

Дуня послушно выпила. Прибежал Гуська Пух, забрался под одеяло, смешно свернулся калачиком.

— Я дохъяя кыйеветка, выбойси меня в мое!

— Ты дохлая креветка? — засмеялась Дуня. — А зачем тебе в море-то, раз ты дохлый?

Мама, которая сидела рядом в кресле, вдруг вскинулась, и глаза у нее стали большие.

— Мишутик, а ну, скажи еще!

— Я кыйеветка, я дохлый, мне надо в мое!

— Дуня, он же не заикается, — тихо сказал мама.

— Кажется, нет, — сказала Дуня, и потом они все обнимались, восторгались, и чуть не напугали Мишутку, он от них вырвался и убежал «мое» искать.

— Это же настоящее чудо, — говорила мама, радостно сияя, — видишь, ходили на причастие, и Бог помог!

— Это Ангел услышал, — прошептала Дуня, кутаясь в одеяло, она закрыла глаза, и снежные червячки и мухи уже замелькали в темноте.

— Какой Ангел? — не поняла мама.

Дуня не ответила, она уже стояла на берегу моря, кругом нее копошились креветки, они были смешные, как Мишутка — Гуська-Пух, прыгали ей в руки, щекотались там и пищали.

Ночью Дуня проснулась от того, что было очень холодно. Дрожала-дрожала, потом стала звать маму. Оказалось — температура. Мама засуетилась, бегала на кухню, совала в Дуню противный сироп, потом сидела рядом, читала любимого Дуниного Даррела. Утром Дуня проснулась с больным горлом и в школу не пошла.

Так вам и надо

Что бы ни говорил мой муж в своих проповедях, дома его вывести из равновесия может любая мелочь. Не надетый на тюбик зубной пасты колпачок, например. Такая начинается фукусима, что только и остается «Живый в помощи» читать...

Так что я тоже позволяю себе злиться — на безопасном расстоянии от супруга. Эти двое, в вокзальном занюханном кафе, взбесили меня так, что я готова была подойти к ним, схватить за волосы и оторвать друг от друга, а потом с наслаждением бить фейсами об тэйбл... Все давно привыкли, как обжимается и целуется молодежь, где ни попадя, противно, конечно, но понятно. Артем сказал бы: всё от западного кино, там находят образцы для подражания. А вот эти, не молодые отнюдь, какого кина насмотрелись — не знаю.

Я сидела в углу с планшетом и дурным растворимым кофе, смотрела одним глазом новости, когда зашли они. Он — с маленьким чемоданом на колесиках и спортивной сумкой, она — налегке, с сумкой через плечо. Оглянулись в поисках места поудобнее, но все дальние и более-менее уютные места были заняты. Пришлось им обосноваться почти в проходе. Она села с багажом, а он пошел покупать что-то. Интересный был бы мужчина, если бы не рост ниже среднего. Для меня такие не существуют, мама с детства вбила в голову, что главное в мужской красоте — высокий рост. Мой Артем почти 195 при моих 170 — вот это по мне. Не красавец, но все равно бабы млеют, тем более — поп.

Этот тоже чем-то смахивал на попа... солидной комплекцией и стильной бородкой хотя бы. Правда, на иконостас за спиной продавщицы внимания не обратил, а там целая выставка, вплоть до фото старца Сампсона Сиверса. Хотя, может, потому и не обратил, что поп. Однако на матушку его спутница точно не тянула никаким боком, а с любовницами у нас попы всё же открыто не появляются. Обычно.

Женщина была в вельветовых брюках и дешевой бело-коричневой куртке. Не так просто определить цену вещи на расстоянии, но я могу. Тут важно на остальное посмотреть — степень ухоженности, стрижку, макияж. Если всё это на уровне, то, возможно, и одежда, при внешней простоте, дорогая. А тут все было просто до безобразия. Лицо, пожалуй, миловидное, но умелым макияжем его можно было бы сделать ярче и выразительнее, а дама этим пренебрегла. Прическа неудачная — сзади кудряшки, спереди — челочка, укладка — я-у-мамы-дурочка.

Когда они устроились со своим чаем и пирожными, выбрала ракурс, сдвинулась вместе со стулом и посмотрела на руки. У него — маленькие для мужчины, раньше бы сказали — аристократические, кольца нет. У нее — явно плачут по хорошему маникюру, маленькие, но некрасивой формы, им

бы поменяться руками, было бы в самый раз. И тоже обручального нет, хотя какие-то два жалких серебряных колечка на правой руке были. Не муж и жена точно, слишком нежные взгляды кидают друг на друга, отчего я и стала их разглядывать, оторвавшись от планшета. Неприлично нежные. Демонстрирующие полнейшее пренебрежение окружающими. Чай стынет, а они склонились друг к другу, он ее руку держит, то к губам прижмет, то гладит.

Не я одна заинтересовалась. Одна из продавщиц, которая мужика этого обслуживала и кокетничала с ним весьма откровенно, прям все глаза проглядела на эту парочку. Видимо, мысли у всех баб одни: и что он в ней нашел? Обычная совершенно, да еще, похоже, старше него минимум на несколько лет. Это особенно видно, когда она не улыбается — складочка носогубная с одной стороны предательски говорит о том, что ей уже явно не 35...

У меня такие едва наметились, я сразу Артема потрясла, вроде как на лечение зубов, а сама сэкономила — и на контурную пластику бегом. И два раза в год биоревитализацию, курс массажа, мезотерапию... И цвету себе в свои 43, как этой дурочке не снилось. Правда, Артем ничего этого не замечает, но я себя успокаиваю тем, что заметил бы, если бы постарела, а не замечает — значит, всё хорошо. Да и мужские заинтересованные взгляды радуют. А эта то ли бедная совсем, то ли наплевать на себя. Мужик всё шепчет что-то на ушко, глаза аж сияют, ничего не скажу, красивые глаза, брови густые, вразлет, ресницы длинные. А она его руку к щеке своей прижимает, улыбается, как девчонка-подросток, тьфу, противно смотреть.

Противно, а притягивает, смотрю. Тем более, этим идиотам по барабану: никого, кроме друг друга, не видят, хоть Путин рядом сядет — не заметят. Оба с вещами, сумка спортивная явно его, значит, едут куда-то, но ведь как пить дать — не вместе, иначе не лизались бы так на глазах у всех. Пирожные свои поковыряли, пополам, похоже, каждое поделили, бэ-э, как провинциально. У нее чай остался, вот она и пила его крохотными глотками, видимо, боялась, что их попросят отсюда, раз ничего больше не берут. Но кто же от такого аттракциона откажется? Подошла к ним худая мымра, прямо перед носом давай тряпкой махать, столик вытирать. Попробовала бы ко мне подойти, я б ей выдала. Парочка ворковать прекратила, со значением оба на бабу посмотрели — типа, давай уже, скорей вытирай и вали. А бабе

интересно, вот она и возюкает тряпкой с усердием, а исподтишка парочку разглядывает.

Позвонил Артем, отпрапортовал, что едет из больницы, причащал кого-то, сейчас стоит в пробке на Мичуринском, позвали освящать офис в Москвасити. Поинтересовался, наконец, еду ли я уже. Нет, говорю, поезд опаздывает, пока на 40 минут. Очень хотелось сказать, что сижу в кафе, травлюсь «Якобсом» и умираю от зависти, глядя на неприлично нежную пару. Не стала. С юмором у Артема проблемы, еще воспитывать начнет. До чего ненавижу, когда мне начинают ездить по ушам, что может и не может делать матушка. Здесь никто не знает, кто я. Захочу — пококетничаю с кем-нибудь, только не с кем, увы.

Как там Артем когда-то вещал на «Союзе», отвечая бабе, которая жаловалась, что муж с ней груб, а ей хочется нежности: «Нежность — это плотское, страстное чувство, которому не место в православной семье. Это та самая похоть очес, о которой предупреждал нас апостол. Муж должен быть строг с любовью, но любовь — это вам не сюсю и не вздохи на скамейке, это труд, это самопожертвование, это спасение ближнего. Ваше желание нежности — от лукавого, боритесь с ним постом и молитвой, цель супружества — в чадорождении и помощи друг другу на пути в Царство Небесное»... и прочее в том же духе.

Мерзость. Как хотелось сейчас ему сказать: «А знаешь, Артем, я ухожу от тебя. Уезжаю к маме насовсем, а не проведать. В вашу социальную концепцию надо ввести важный пункт — жена имеет право подать на развод, если муж ни разу в жизни не довел ее до оргазма, а в губы последний раз целовал на первую годовщину свадьбы. Какая уж тут, блин, нежность, если раз в месяц, когда ему придет в голову, что надо исполнить супружеский долг, мне приходится после этого исполнения идти в душ и страшно грешить, чтоб доставить себе хоть бледную тень удовольствия, на которое имеет право любая замужняя женщина. Доставляю и реву... Очень нежности хочется. Никогда ты не смотрел на меня так, как этот мужик на свою женщину... Убила бы их, испепелила бы взглядом, как девочка у Стивена Кинга, если бы могла, и всё из-за тебя»...

Но ничего этого я, конечно, не сказала. В конце концов, не в нежности счастье, проживу и без нее. А будет невтерпеж — заведу любовника, уже рассеянно подумала я, выключая планшет. К парочке подошел высокий симпатичный парень, положил перед ними какую-то бумажку и пошел в мою

сторону. «Я инвалид, глухой. Я лишен радости слышать пение птиц и шорох дождя. Купите у меня эти товары», — прочитала я. Парень выложил передо мной на столик три авторучки. Я кинула взгляд на парочку. Он проверял ручку, нажимал на ней кнопки-фонарики, она потянулась за сумкой, но он ей что-то ласково сказал, и она улыбнулась и поцеловала его. Парень обошел всё кафе и вернулся к ним, взял со стола выложенную мужчиной сотню, улыбаясь, заменил им ручку, которая, видимо, плохо писала. Женщина, сияя, сунула ее в свою сумку с таким довольным видом, словно получила в подарок кольцо от Картье. Не надо было быть глухой, чтобы понять, что она сказала своему спутнику: «Я люблю тебя». Парень вернулся ко мне. «Пошел вон», — прошипела я неожиданно для себя. Уж не знаю, прочитал ли он по губам мою грубость или хватило моего выражения лица, но быстро забрал ручки, бумажку и ушел.

Когда я повернула голову к противной парочке, они уже вставали, по-прежнему блаженно, но как-то уже обреченно улыбаясь друг другу... «Прощаетесь... — думала я. — Так вам и надо... небось, едут по домам, там их семьи ждут. Колец нет — не факт, что свободны, сейчас, бывает, и не носят, — а тут, небось, встречались под предлогом служебных командировок... Покувыркались, теперь будете честных изображать, а по ночам страдать, так вам и надо, так вам и надо...» Это злобное «так вам и надо» звучало во мне, как заевшая пластинка, а они уже выходили на перрон, держась за руки, я видела их через стекло.

Через полчаса, когда, наконец, объявили мой поезд, я увидела мужчину, уже одного, когда он садился в соседний вагон. Лицо у него было как запертый дом с заколоченными ставнями, одинокое и непроницаемое...

Божья коровка

Эта история началась в январе, когда в город после бесснежного декабря пришли небывалые снегопады. Был вечер, Роман сидел на диване у окна и читал «Девушку с татуировкой дракона». За окном завывал ветер, уже стемнело, но в упоении от книги он этого не замечал. Все, о чем он читал, так страшно далеко было от его жизни — молодого, но уже несчастного священника.

Зачесалась рука, будто что-то маленькое пробежало, щекоча волосы.

Боковым зрением Роман увидел нечто вроде жучка и инстинктивно потрянул

кистью над полом. Что за жучки зимой? Он потянулся к выключателю на торшере. Засветился желтый абажур. На освещенном полукруге серого ковра барахталась среди длинных ворсинок крупная божья коровка. Роман присел возле нее на корточки. Это было странно: откуда божья коровка могла взяться в квартире на восьмом этаже, когда за окном минус двадцать пять? Роман осторожно взял жучка двумя пальцами и положил на ладонь. Божья коровка резво побежала к указательному пальцу, и он поднял его вверх. Не успел он договорить стишок про «улети на небо, принеси нам хлеба», как гостья расправила крылья и полетела в сторону подоконника. Подойдя к окну, Роман увидел, что божья коровка ползет по денежному дереву. А еще три ее товарки деловито бегают среди горшков с цветами, названиями которых он никогда не интересовался.

Перед тем как лечь спать, он поставил на окно мисочку со сладкой водой. Ну, а чем их кормить? Из читанной в детстве книжки про Карику и Валю он помнил, что божьи коровки питаются тлями. Может быть, тля завелась на жениных цветах? Было бы не удивительно, жена про цветы вспоминала редко, если бы он не выплескивал в горшки чайные опивки, они давно бы сдохли.

Утром Роман проснулся счастливым и не сразу вспомнил, почему. Не надо служить — это хорошо, но это и с вечера было известно. В храм не надо, только днем провести два урока по православной морали в гимназии. Это ничего, детей он любил. Но что еще? Пока потирал всегда ноющую поясницу и разминал шею вправо-влево, сидя на кровати, вспомнил — божьи коровки же! И чуть не засмеялся. Пошел к окну, за которым сквозь мрачную пелену пыталось просочиться солнце. Пока шел, босые ноги вдруг ощутили влажное и прохладное. Он опустил глаза, ожидая увидеть оброненные из стиральной машины носки, и застыл. От середины комнаты до окна пол покрывала трава. Трава, ботанического названия которой никто не знает, та, что покрывает землю в любом огороде, саду и дворе, плюс вся травянистая братия вроде мокрицы, спорыша, сурепки, лопушистых подорожников. В углах комнаты колосилось что-то незнакомое, явно неместного происхождения — мощные узловатые стебли то ли бамбука, то ли еще чего-то из азиатского мира. Упруго упали сверху и закачались прямо перед глазами белоснежные цветочные звездочки — подняв голову, Роман увидел, что они свисают с потолка на тонких зеленых нитках. Сквозь диван, на

котором он вчера читал книгу, пробивалось нечто, напоминающее молодой папоротник. Подоконник был покрыт изумрудным мягким мхом, горшки с жениными цветами были почти не видны под ним. Тарелочка, в которую он вчера налил сладкую воду, лежала среди нежно-лимонных цветов под окном. По ней ползали божьи коровки.

Роману стало страшно и весело. Вместе с цветами и жучками в его сердце вливалась новая прекрасная жизнь.

Уходя из дома, он всегда оставлял приоткрытым окно, не выносил духоты. Но в этот день не стал — побоялся, что холодный воздух повредит его саду.

На уроках Роман был рассеян и отпустил своих второклашек без домашнего задания. Вспомнил об этом, когда дети уже выбежали из класса. Он подумал, что на следующем уроке просто поставит им мультик, например, про Гарфилда.

Он так торопился домой, что из метро не стал забегать в «Магнит». Ничего, Нины еще несколько дней не будет. А он может сварить гречку. В буфете есть банка песто, которую привез отец Борис из Италии. Интересно, можно есть песто с гречкой?

Роман даже постоял немного у дверей, не решаясь зайти в дом. А вдруг сад с божьими коровками — плод его воображения? Или бесовское наваждение? Его ждет пустая скучная квартира, застоявшийся воздух, привычный вечер с книгой, иногда — болтовня Вконтакте с подростками, у которых он вел уроки в воскресной школе: «Батюшка, а вы смотрели „Форму воды“?»

Еще не зажигая свет в большой проходной комнате, которая давно стала его местом для сна и бодрствования, Роман понял, что сад здесь и он растет и дышит. С порога его окутала та особая влажная тишина, которая водится в вечерних приморских парках. По щеке что-то шершаво скользнуло, он вздрогнул и нажал на выключатель. Промелькнула то ли птица, то ли летучая мышь. Несмотря на хронический насморк, он почувствовал, что комната полна таинственных запахов и шорохов. Мебели уже практически не было видно: зеленым холмом под лианами громоздился шкаф, свет люстры с трудом пробивался сквозь ветки какого-то суккулента с серебристо-серыми пальчиками, а торшер превратился в куст, окутанный розовым облаком. «Бугенвиллия», — сказал кто-то в голове Романа.

Дверь, которая вела в спальню жены, была чиста от флоры. Он заглянул в комнату — она не изменилась. Та же широкая кровать, на которой когда-то они спали вдвоем, стеллаж, заставленный духовными книжками и иконами, кресло с наваленной на него одеждой, и никаких джунглей.

Гречку ему варить не пришлось. В шкафу, под плащами и пальто, нашелся куст ежевики, он насобирал целую миску. Потом из зарослей в углу, где шебуршились малюсенькие птахи, выпал плод, похожий на колючий желтый огурец. Роман погуглил: оказалось, кивано. Вкусно — как если бы намешали в одну тарелку дыню с огурцом.

Через несколько дней позвонила жена. Нина работала в женском монастыре, искала что-то в архивах по истории обители. Работа за копейки, но и без строгого графика. Нина любила монастырь, старца Моисея и монахинь намного сильнее, чем Романа. Ездила на подворье, в Белебеево, оставалась там иногда по неделе, ночевала, ходила практически на все долгие службы. Возвращаясь в город, сидела в областном архиве. Она считала Романа мирским человеком и тихо ненавидела за то, что он читает детективы и сидит в сети. Детей она не хотела, да и откуда им было взяться, они не спали уже чуть ли не год. Один раз в Великий пост Роман прижался к ней ночью и положил руку на грудь. С ней случилась истерика. А потом она сказала, что лучше умрет, чем осквернит пост и предаст Господа. После этого Роман и сам ничего не хотел с женой.

Нина сказала, что приедет вечером, велела не встречать — с вокзала ее подвезут «сестры». Роман сидел растерянный, испуганный. Он был счастлив своей новой жизнью. До полуночи сидел с ноутбуком, шарился по определителям растений, птиц, бабочек — они тоже появились. Обнаружил, что сад совершенно не нуждался в поливе, ему хватало чая с донышка стакана, а может, и чай был не нужен — сад разрастался и цвел волшебным образом: геликония, платицериум, каменная роза, райтия, цезальпиния, нектарницы, цветоеды — каждый день его ждали открытия и новые радости. Что скажет Нина? Он был уверен, что сад ей будет не по душе.

Дверь открывал трясущимися руками, сердце колотилось как бешеное.

Жена, как обычно, вскользь коснулась губами его щеки, скинула ему на руки тяжелую енотовую шубу, закинула на полку оренбургский платок, стянула сапоги, забрала сумку из рук мужа, промаршировала через комнату-сад в спальню. «Пахнет у тебя как-то странно. Подгорело что?» И закрыла дверь.

На другой день Роман уехал рано на службу. Вернувшись в «дежурку», взял телефон и увидел смс от Нины (никаких мессенджеров она не признавала): «Убери хлам из большой комнаты». Он присел на продавленный поповскими телами старый диван, чувствуя, что внутри у него все рвется и дрожит. «Давай разведемся», — отстучал он ответ.

Немного подождал. Телефон молчал. Роман, по-прежнему с противной дрожью внутри, переоделся и поехал домой. Жены не было. Обычно, когда они ссорились, она уходила к родителям.

Роман сидел на кухне — туда сад не пробрался, — просто сидел, глядя в грязное окно на снегопад, пил кефир из горлышка. Очень хотелось спать, как обычно после литургии. Он думал о том, что будет, если Нина согласится развестись. Он будет жить в своем саду, кончится одиночество, нелюбовь, холод. Вон отец Иннокентий развелся — и ничего, никаких проблем.

Конечно, он настоятель и вхож к архиерею, но в случае чего и его можно в пример привести: вот, мол, владыко. Про то, что у настоятеля гражданская жена, говорить не стоит, нехорошо, но архиерей-то не может этого не знать. Вот и получится тонкий намек: давайте без двойных стандартов. Он расскажет владыке Пимену, что Нина хочет стать монахиней, что говорила об этом не раз, что они живут как соседи, что это неправильно — так жить. Должен же владыка понять. На нем и воскресная школа, и в гимназии преподает за так, и служит всегда за всех безропотно, кто бы ни заболел или еще что. Отец Николай вон как-то в час ночи позвонил: «Ромка, можешь завтра за меня отслужить, с женой я тут того... не удержался». А Роману что — он уже год как Иоанн Кронштадтский.

Вечером Нина не вернулась. Он скрепя сердце позвонил родителям, выяснил, что да, у них. Тестя с тещей не одобряли фанатизма дочери, они и брак ее не одобряли: никаких перспектив, хорошо хоть квартира Роману от двоюродной бабушки досталась приличная, а то вообще — нищий поп, толоконный лоб. «Поссорились?» — почему-то с ноткой доброжелательности спросила теща. «Немного», — пробормотал Роман.

На другой день ему позвонила Валентина, секретарша владыки, сказала, что ему велено прийти к пяти часам. «На ковер. По поводу твоего развода, — добавила она бодро. — Имей в виду, Дед ненавидит разводы, так что ты брось это дело». Валентина совершенно не стеснялась звать архиерея Дедом, кажется, он даже знал об этом и не возмущался. Роман спросил, откуда информация о разводе. «От твоей Нины, от кого же еще. Вчера Деда сторожила вечером в Троицком, плачет-заливается: отец Роман развода требует, мол».

Роман не мог понять: зачем ей это? Отомстить? Ведь в монастырь хочет, так, казалось бы, и радуйся, зачем мужу жизнь портить, что за ненависть такая необъяснимая?

Сад притих. Птицы молчали, не было видно бабочек и божьих коровок. С потолка спланировал и упал на траву желтый лист.

Из еуправления Роман вернулся продроженный до костей — забыл шарф, выходя из дома. В буфете нашел коньяк, подаренный кем-то на день рождения в прошлом году. Выпил прямо из бутылки большими глотками, закусил черствым печеньем. Потом лег в саду на мох, укрывшись пуховиком, его знобило, кружилась голова. Ему не уйти. Когда он заикнулся о нелюбви, о желании жены уйти в монастырь, владыка посмотрел на него поверх дорогих очков как на дохлую мышь, сказал: «Никакого развода, иначе сразу в запрет. С женой чтоб помирился. Проверю. Иди, и чтоб я тебя не слышал-не видел».

Весь вечер Роман допивал коньяк. За окном все еще шел снег. Нина прислала смс: «Уберешь бардак, сообщи — я вернусь. Нас соединил Бог, будем терпеть».

«Что мне делать с тобой?» — спрашивал Роман свой сад. Молчали геликонии, платицериум, каменные розы, райтия, цезальпиния, нектарницы, цветоеды. Только божьи коровки собрались на одном большом листе плюмерии и смотрели на него грустно.

Он попробовал рвануть из пола какой-то стебель, но тот не поддался, и Роман упал, больно ударившись о корень.

«Ладно, — пробормотал он, — тогда по-другому». Он, пошатываясь и держась за голову, пошел в спальню жены. Вынул из шкафа пачку православных газет, разбросал по мху, комкая и разрывая на части. «А что

мне делать? Как с тобой справиться? Никак! Только так», — бормотал он, чиркая спичками.

Отпевали его в закрытом гробу. Отец Николай плакал, у него покраснел нос, дрожал голос. «Отец Роман был...» — он задумался, все слова о покойном сослужителе вдруг показались ему глупыми и даже смешными.

— Смотри, бабушка, смотри, божья коровка! — громко зашептал какой-то маленький мальчик, показывая на гроб. Одна за другой, торжественной линейкой божьи коровки выползли из щели в деревянном ящике, собрались кучкой на крышке и разом взлетели. В наступившей тишине был слышен страшный шорох сотен сухих крыл.

АЛЕКСЕЙ ПЛУЖНИКОВ

Иван Соломонович

Храм у отца Леонида был маленький — даже не храм, а так, железный вагончик. Поэтому не заметить нового посетителя было невозможно.

Старик сидел на деревянном сундуке, который служил одновременно и лавочкой для прихожан, и хранилищем приходского барахла. Одет старик был неприметно, но чистенько: старый пиджачок, брюки годов семидесятых, в руках красная бейсболка «Чикаго Буллз», которую он чинно придерживал на коленях, — сразу было видно, что дедушка из интеллигентов. Его слезящиеся глаза смотрели куда-то сквозь иконостас, а к губам прилипла виноватая, привычная за долгие годы, застенчивая улыбка.

Когда молодой настоятель вошел в храм и стал прикладываться к иконе на аналое, старик попытался вскочить, хотя ему это далось с трудом, он прижал бейсболку к груди, как шляпу, и сделал светский полупоклон, еще более смущаясь и виноватясь. Уши у старика были большие, мясистые, из них торчали пучки рыже-стальных волос, такая же буйная поросль торчала из характерного носа.

Отец Леонид стариков уважал, поэтому тоже приветливо улыбнулся, поздоровался и спросил:

— Вы что-то хотели? Меня ждете?

Старик обрадовался, увидев, что к нему ласково обратились:

— Нет-нет! — мягко пришептывая, заспешил он. — Я просто... Я просто мимо шел, увидел, что тут церковь, вот, решил зайти, посмотреть, посидеть... Можно? Я не мешаю?

— Ну что вы, — еще более добродушно сказал отец Леонид, — конечно, нет. Каждый может прийти в храм и посидеть.

— Просто дело в том, — старик стал мять бейсболку и крепче прижал ее к груди, — некрещеный я, да и в Бога не верю: может, таким нельзя в храм заходить?

— Можно, можно, — поспешил успокоить его священник.

— Это хорошо! Спасибо вам! — дедушка схватил отца Леонида за руку своими большими, поросшими седыми волосками и испещренными старческими пятнами, прожилками и вздутыми венами, руками. — Я очень рад, что вас увидел! Вы знаете... мне просто не с кем поговорить. Совсем не с кем. А тут, в храме, мне так хорошо, да еще вот вы со мной разговариваете... Можно я буду приходить иногда?

— Да, конечно! Приходите, как захотите, ...э-э, Вас как, простите, зовут?

— Иван Соломонович я — да, я старый еврей! Очень старый, — старик хитренько прищурился, будто собирался сказать ужасную непристойность: — Мне уже 87 лет!

— Ну, и отлично, и приходите, — опять улыбнулся отец Леонид. — У нас, кстати, и библиотека есть — вон, в углу шкафы стоят, можете записаться, книги брать.

Иван Соломонович ахнул:

— Библиотека? Книги?! Да вы что?! Ох, какая радость! У меня тоже дома есть библиотека, о-очень много книг, я их все читаю. А вот послушайте! — он приосанился, сжал бейсболку, как Маяковский, и с чувством продекламировал:

Вечер нежный. Сумрак важный.

Гул за гулом. Вал за валом.

И в лицо нам ветер влажный

Бьет соленым покрывалом.

Все погасло. Все смешалось.

Волны берегом хмелели.

В нас вошла слепая радость —

И сердца отяжелели.

Оглушил нас хаос темный,

Одурманил воздух пьяный,

Убаюкал хор огромный:

Флейты, лютни и тимпаны...

— А? Как? — старик улыбнулся уже гораздо смелее, как старому приятелю.

— Я много стихов знаю, очень много. Ну, тогда я, с вашего позволения, запишусь в библиотеку, а девочка ваша в лавочке пусть мне посоветует, да?

В следующий раз отец Леонид встретил Ивана Соломоновича через пару месяцев. Только теперь он собирался уходить, а старик заходил в храм, неся подмышкой книгу и неизменную красную бейсболку. Любитель поэзии так и засиял:

— Батюшка! Как я рад! А я вашу книгу прочитал, вы знаете?!

— Очень рад, Иван Соломонович! — отец Леонид поправил на плече ремень своей походной сумки, показывая, что он уже уходит.

— Да, да, — понял старик и нежно коснулся плеча собеседника. — Да, жизнь, молодость, надо спешить... Но вы вот послушайте:

И в зле добро, и в добром злоба,

Но нет ни добрых, нет ни злых,

И правы все, и правы оба, —

И правоту поет мой стих.

И нет ни шведа, ни японца.

Есть всюду только человек,

Который под недужьем солнца

Живет свой жалкий полувек.

Он удовлетворенно тряхнул головой:

— Идите, идите, а я пока вот с девочкой побеседую, книжечки выберем... Спасибо вам! — старик поклонился и пропустил священника к двери.

Прошло еще пару месяцев, и вновь встреча как в первый раз: Иван Соломонович с кепкой в руках на сундуке, а отец Леонид пришел на всенощную. Старик поманил его рукой, предлагая присесть рядом.

— Вот как так, скажите мне? — глядя куда-то в пустоту, начал старик. — Столько лет живу, жена была — умерла, да, давно уж. Дети, внуки, правнуки! Я живу с сыном, невесткой, с внуком — внук уже парень большой, студент, да. Вот только почему я не могу с ними поговорить?.. — голос старика горестно дрогнул. — Почему? У них своя жизнь, я понимаю. Но я пытаюсь с сыном поговорить, а он отмахивается — и в телевизор. Зову внука: «Давай я тебе книгу почитаю. Давай расскажу интересное, о жизни», — отмахивается: «Отстань». А сам в компьютер свой или гулять. Нет, я все понимаю, но хоть иногда можно поговорить?.. Просто поговорить...

Старик помолчал, глаза с пожелтевшими белками помутнели от наплывающей влаги.

— А вот приду сюда, поговорю с вами, с девочками в лавочке — и мне веселей. А домой не хочется возвращаться... А, может, вы ко мне придете? — вдруг с надеждой спросил он. — Библиотеку посмотрите, там много интересных книг, старинных даже.

— Ладно, — кивнул отец Леонид. — Как-нибудь обязательно зайду.

— Да-да, — обрадовался старик, — как-нибудь. Вы мне только позвоните, что придете, номер телефона записан в моей карточке библиотечной.

— Обязательно, Иван Соломонович!

Прошло еще месяца три. Был теплый летний вечер, канун большого церковного праздника. Началась всенощная. Где-то в середине службы отец Леонид заметил, что Иван Соломонович сидит на табуретке у самого выхода, голову откинув к стенке, в руках какой-то пакет. Сидит и что-то бормочет, вздыхает, шуршит пакетом. Обычно отец Леонид сразу же раздражался на

тех, кто приходит в храм шуршать пакетом, делал резкое замечание, но дедушка был ему симпатичен, поэтому он ничего не сказал.

Прошел полиелей, началась самая скучная часть: чтение канона. В это время отец Леонид услышал глухие размеренные непонятные звуки: бум, бум, бум. Как будто кто-то ударял чем-то тяжелым по железу. Сначала ему показалось, что звук идет откуда-то издалека, но потом его больная спина подсказала, что вибрация идет по стенам храма. Он вышел из боковой двери алтаря и кивнул работнице лавки в сторону выхода: мол, проверьте, что там.

Та вернулась через секунду:

— Там этот дедушка, который сидел у входа, — прошептала она отцу Леониду на ухо. — Он сидит на земле у стенки храма и бьется головой об нее.

Отец Леонид нахмурился, колебался и сам пошел к выходу, не снимая фелони. Иван Соломонович сидел на пыльной земле, прижавшись спиной к металлической стенке храма, и мерно бил затылком, при этом всхлипывая и приговаривая:

— Не хочу!.. Я не хочу! Не хочу жить!.. — в руках он продолжал комкать целлофановый кулек, глаза у него были закрыты, как в трансе. И отца Леонида торкнуло: он подбежал к старику и схватил того за руки: кулек был весь темно-красным внутри, в пальцах у старика было зажато лезвие, а на обоих запястьях были неглубокие свежие разрезы, из которых сочилась кровь.

Работница лавки, любопытная тетюшка, охнула, увидев это зрелище.

— Срочно несите аптечку! — скомандовал отец Леонид. — Надо кровь остановить, забинтовать!

Служба в храме прервалась, выскочили еще несколько прихожан на помощь.

— Надо его родных вызвать! — подсказала певчая. — Но как?..

— Телефон! — вспомнил священник. — Он же записан в библиотеку! У него в карточке записан домашний телефон — звоните его сыну!

В то же время отец Леонид пытался разжимать пальцы старику, чтобы забрать лезвие. Тот отчаянно сопротивлялся, не открывая глаз:

— Нет, нет! Не отдам! Я не хочу жить! Я не могу больше так жить! Я устал жить! — старик рыдал, выдирая руки и все крепче сжимая в пальцах лезвие.

— Я не могу больше! Простите меня, старого идиота, простите! — пачкая себя кровью и отпихивая руку священника, продолжал Иван Соломонович борьбу за смерть. — Я вам всем службу испортил! Я даже вены не смог правильно порезать, старый я дурак! Я и кулек специально взял, чтобы не испачкать вам кровью тут! Простите меня, но я хочу умереть!

Он безутешно рыдал, а отец Леонид сидел с ним рядом и гладил его по плечу одной рукой, а другой придерживал сжатый кулак старика, чтобы тот не натворил бед лезвием. Пальцы старика тоже были изрезаны. Лавочница принесла бинты и, кое-как пристроившись, забинтовала страшные запястья.

Минут двадцать прошло в попытках уговорить старика расстаться с лезвием. Тот открыл глаза, немного успокоился, но лезвие не отдавал. И тут старик глянул в сторону, глаза его расширились от испуга: там стоял мужчина лет шестидесяти, хмуро глядя на него. Потом мужчина подошел, протянул руку:

— Все, хватит! Давай сюда бритву! Хватит устраивать концерт!

Иван Соломонович безропотно протянул лезвие, сжался, виновато моргая на сына:

— Я ничего... Я сейчас...

Сын твердо взял старика за плечо, встряхнул, поднял и быстро повел к машине. Старик смиренно семенил рядом, не оглядываясь.

— Извините нас, — буркнул мужчина, садясь в машину. — Спасибо, что позвонили.

Больше отец Леонид не видел старика. И должна быть какая-то мораль в рассказе, но морали никакой нет. Лишь тягостное чувство вины, занозы глубоко в душе из-за того, что так и не позвонил, не пришел в гости, не послушал стихов... А старик, наверняка, уже умер.

Толик

Людмила Васильевна выглянула в окно:

— Толик идет! Опять, — в ее голосе слышна привычная улыбка.

Я тоже привычно начинаю улыбаться. Если в храме есть кто-то из наших, и он знает, кто именно идет, то начинает улыбаться тоже.

За дверью слышно громкое невнятное басовитое пение, скрип деревянного крыльца под тяжелыми ногами. Дверь распахивается.

— Батушка-а-а-а! Бласлави! — улыбка от уха до уха на широком лице.

У нас тоже.

Сумка через плечо, набитая книгами и подарками, на груди болтается большой крест, больше иерейского разза в три.

— Это что у тебя, Толик? — спрашиваю, понимая, что он ждет вопроса.

Толик расцветает:

— А я ж теперь германом работаю! Меня рукоположили! В монастыре! Я там служу! — смотрит на меня со своим фирменным прищуром, готовый взорваться смехом.

Герман — это наш митрополит. Раньше Толик «работал» монахом, потом «батушкой», теперь «повысился в должности» — уже до архиерея.

— Батушка, я помолиться хочу! Можно?

— Ну конечно, иди, молись. Только потише, не шуми слишком.

Но «не шуми» — это не про Толика. Толик и шум — синонимы.

Однажды пришел очень озабоченный, грустный:

— Батушка патриарх АлЕксий ведь умер! У меня душа за него болит! Я пришел помолиться за него, завтра ведь праздник!

И пошел к канунному столику, достал крест, молитвослов и стал гудеть «панихиду»: «Поко-о-ой, Господи, батушку АлЕксия... Богородице Дево, раду-у-у-у-у-а-а-а... Отца и Сына... А-а-а-ами-и-и-инь...» — протодьяконским басом.

Потом поворачивается: «Ми-и-и-ир всем!» — благословляет, как поп. И улыбается радостно.

Каждый раз приносит свои записки на литургию. Почерк ужасно корявый, буквы уползают вверх, но имена разобрать можно. «Деду Вову, бабу Маню, Любу, маму...»

Однажды увидел, как я закладываю зачала в Апостоле перед службой.

— Я тоже в монастыре Апостол читаю! — отошел в сторонку, встал перед аналоем в центре и забасил: «Бра-а-а-а-а-а-атие!!!» Откуда он вообще узнал, что это именно Апостол был у меня в руках? Книга старого издания, синяя, с полностью стертой обложкой...

На исповедь Толик приходит регулярно, видимо, кто-то ему объяснил, что иначе не получишь причастия — а причащаться он любит. Уже с порога кричит:

— Батушка! Исповедоваться хочу! Я ночью не сплю, батюшка, — душа у меня болит!

Но никаких грехов, кроме слов «душа болит», сказанных нарочито печальным — «покаянным» — голосом, Толик не знает. Из-под епитрахили он поднимает голову уже счастливый и опять с хитренькой улыбкой от уха до уха.

Когда Толик остается на службу, то это нелегкое испытание для остальных — и для прихожан, и для клира: Толик будет гудеть, подпевать, вздыхать, отпускать реплики, громко сморкаться. Но никто и не подумает его прогнать — «это же Толик».

Однажды я спросил его: «Сколько тебе лет, Толик?». Он приосанился важно, подмигнул:

— Двадцать семь! — с таким значением, будто подарил мне карту Острова сокровищ.

В городе его знали все: от митрополита до свечницы любого храма: Толик ежедневно обходил несколько храмов, общался со всеми. Для него ничего не стоило подойти после службы к самому митрополиту и пообщаться с ним на равных. Ходил он в гости и к протестантам.

Как-то он пришел в Великую Субботу, упал на колени перед Плащаницей, лежащей на столике посреди нашего крохотного храма, и горестно, со слезами в голосе, уже не играя, воскликнул:

— Господи! Ну почему Ты умер?! Почему?!

А ведь кто-то по-прежнему думает, что даунам лучше бы не рождаться...

Никто сюда не придет

Сегодня, наконец, все кончится. Я сижу за рабочим компьютером, уставившись в экран, и читаю про себя девяностый псалом. Вокруг снуют коллеги, даже главный начальник прискакал, потом финансовый директор — толстый парень с добродушным лицом, еще кто-то... Ясное дело, ждут скандала: должна же я что-то отчебучить, раз меня вытурили... Без скандала от нас еще никто не уходил. Зачем этот цирк, неужели в последний день не могут оставить человека в покое? Через час придет бухгалтер, выдаст мне трудовую книжку — и я отчалю от вашего берега. «Наш офис слишком дорого обходится руководству!» — сказала неделю назад наша начальница, со значением глядя на меня. И все всё поняли: одного — точнее, одну — нужно срочно убрать. Я написала «по собственному», я не собираюсь скандалить, но в последнее время у меня так плохо с нервами: только тронь — и атомный взрыв. Им жизненно необходим взрыв, чтобы убедить себя — они правы по отношению ко мне. Я чувствую нетерпеливые взгляды — спиной, затылком. Я читаю псалом снова и снова — никто, никто сюда не придет, никто не защитит меня! Щелкаю мышью, изображая занятость, выбираю первую попавшуюся картинку и открываю во весь экран. Бог ты мой, это же... да это Лорка! Так и есть, Федерико Гарсиа Лорка — собственной персоной. Какая-то скорбная годовщина с того дня, когда люди губернатора Вальдеса выпустили в затылок поэта несколько остроносых пуль. Кажется, в нескольких километрах к северо-востоку от Гранады, в местечке Виснар... красных свозили туда грузовиками, без устали расстреливали и затапывали в землю — такую жирную, что ею можно закусывать вермут. Откуда мы знаем, что хотят люди, смотрящие нам в затылок? Очень часто они желают нашей смерти — разве не так? Голоса за спиной делаются громче и нетерпеливей — я в который раз твержу девяностый псалом и гляжу на Лорку строго и требовательно.

Лорке в день расстрела было, кажется, около сорока — значит, он так и упал на гранадскую землю с этой вовек не поседевшей мальчишечьей шевелюрой, сочными белками цыганистых, ласковых глаз... За что его убили? Да разве было на свете время, когда убивали за что-то? Вот и тут тоже: гражданская война, переворот, гидальго поддержал красных, был крайне невосдержан на язык в интервью — да и вообще, судя по всему, достал правящий режим, как наглый, обаятельный ученик достает седовласого

учителя. Вдобавок Лорка был гомосексуалистом — а это считалось похлеще, чем быть коммунистом. Биографы, кажется, всерьез полагали, что за это его и убили, а вовсе не за политические взгляды. Как же он красив, Боже, Боже! Смелый открытый взгляд, распахнутый ворот белой рубахи, чубчик на породистом лбу — такими рисовали в советских учебниках мертвых героев-комсомольцев. И какая несчастная судьба: понятно, что двойная жизнь, женщины сходили с ума, а он безответно влюблен в своего друга Сальвадора Дали, потом еще, кажется, в другого друга — в режиссера Луиса Бунюэля.

Дали в терапевтических целях познакомил Лорку со своей юной сестрой Анной-Марией — и девчонка втюрилась в красавца не на шутку, не понимая, конечно, что любит фантом, а коварный соперник — не кто иной, как родной брат. Между прочим, так и любила своего Федерико до самой смерти, даже, говорят, считала себя его невестой. Лорка умер — и некому было раскрыть малютке глаза. Но знаете что? Если бы на свете не было несчастной любви — ее стоило б немедленно выдумать! Иначе не было бы никакого Лорки — и никого из поэтов не было бы в помине. Что может быть лучше стояния под чужими окнами, из которых льется на вас мягкий стеариновый свет, где изредка мелькает на гардинах дорогая вам тень?

Потом у Лорки были, конечно, вполне удачные романы, было предложение эмигрировать в Штаты, но нет, нет! Гидальго не выбирал собственную расстрельную участь — похоже, это она выбрала его — как выбирают приглянувшихся мужчин чересчур властные роковые женщины. А если бы читал перед смертью спасительный псалом, как я сейчас, — могла бы смерть отвернуться? Или он отчаялся вконец, уверовал, что никто не придет, не вызовет его?

Я отрываю взгляд от монитора — и не верю своим глазам. В офисе пусто. Потрескивают процессоры, чуть слышно жужжит кондиционер — но никого, никого! Я шепчу Лорке «прощай», закрываю портрет и начинаю не спеша собираться. Спешить мне некуда. Я знаю: никто сюда не придет, почему-то знаю — и всё тут. И можно спокойно побросать в сумочку разные мелочи, поправить перед зеркалом прическу, забрать у бухгалтера трудовую книжку... Бухгалтер — усталая, добродушная, все еще бледная после гриппа — участливо улыбается мне.

И вот я иду к метро, стуча каблучками нелепых щегольских ботинок. Я счастлива, что мир, наконец, оставил меня в покое, и почти налетаю с разбегу на даму средних лет — коротко стриженную и рыжеволосую,

почему-то похожую на учительницу математики. Она сперва отшатывается, затем участливо спрашивает, что у меня стряслось. «Лорку убили...» — нехотя отвечаю я — пусть лучше примет за сумасшедшую, чем начнет утешать. «Гарсиа Лорку?» — уточняет она почему-то веселым голосом. Я очень серьезно смотрю в ее слегка раскосые желто-карие глаза рыси. «Но ты-то жива! Живи до ста лет, выше нос!» — она треплет меня по плечу и слегка подталкивает вперед — так всегда делает мой отец. Я киваю послушно. Я иду к метро и еще долго чувствую затылком ее взгляд.

Полигон

Однажды я на них набрела. Случайно, под вечер уже. Если бы на моем месте был поэт, он бы, наверное, сказал, что солнце спешило утонуть в наступающей мгле. Но я не поэт и выражусь проще: темнело, я собирала землянику и... не заблудилась даже — просто зашла в перелесок, чтоб насобирать побольше да послаще. Ни про какой Бутовский полигон в то время еще слыхом не слыхивали, кроме разве что причастных к этому делу, если они еще оставались на свете. И я бы, понятно, никогда не сунулась в такое место, кабы только знала да ведала, но я ничегошеньки не знала, а ведала только, что само место — всего в пяти остановках на пригородной электричке от нашей платформы «Москворечье» — кишмя кишит земляникой.

Делать все равно было нечего: в школе каникулы, друзья разбрелись-разъехали по дачам — вот и нашла школярка себе развлечение, приятное и полезное. Бояться — не боялась: времена тогда стояли спокойные, да и далеко я никогда не уходила — охотилась за ягодой в лесочке, откуда слышно было голоса с железной дороги и гудки электровозов, а в тот вечер решила почему-то зайти подальше. Долго ли коротко шла — теперь уже не вспомнить: все-таки минуло почти тридцать лет. То все лес да лес, а тут вдруг гляжу — поляна, да такая пригожая, какие на картинах рисуют: холмик непрерывный — в три ряда, вокруг ягоды видимо-невидимо, аж в глазах красно, трава густая, блестящая — к нам на елку в школе Снегурочка приходила, у нее платье так же блестело.

Я, понятно, рада-радешенька — уж и на корточки присела, чтоб земляничины эти обобрать начисто и назад двигать, — уже смеркалось по-настоящему, а мне ведь еще поезд ждать да в Москву ехать. Но как-то не по

себе мне вдруг стало, а отчего — не знаю. Испугалась, что дома влетит за позднее возвращение? Это, прямо скажем, вряд ли: я возвращалась и позже — дома никто не обращал внимания. И руки тянутся к желанной ягоде, а сорвать не могут — вот диво-то дивное, прямо тебе сказка про дудочку и кувшинчик. Я снова поднялась на ноги. Огляделась еще раз вокруг. Поляна как поляна. Солнце садится — вот-вот исчезнет совсем, но ничего, выберусь, мы люди привычные. Холмики эти — от края до края поляны — откуда, интересно, они в глубине леса взялись? Вручную так насыпать — пуп надорвешь, неужто экскаватор пригоняли? А нафига?

И тут я увидела крест. На противоположном краю поляны — сзади уже начинался чернющий ельник. Пошла, конечно, к нему, к кресту, то есть надо же было посмотреть поближе. Обычный крест — с домиком, такие на кладбищах раньше ставили, я в картинном музее видала. Потянула носом — даже в нескольких шагах было слышно, как пахнет свежим деревом. Выходит, недавно поставили? Протянула руку, но потрогать не решилась, хотя и понимала, что никакая это не могила: во-первых, имени нигде нет, во-вторых, под крестом не имелось даже намека на холмик.

И тут, помню, почему-то такой страх меня скрутил! Если бы могила — я б не испугалась: что в ней страшного-то, в могиле? Просто показалось, что сзади смотрят на меня... много-много глаз. Ничего плохого и не хотят вроде, а просто смотрят — спокойно так, пристально. И бросилась я тогда бежать, землянику всю порастеряла, только на станции опомнилась и отдышалась. С того вечера я не была там ни разу в жизни. Даже когда служили в тех местах молебны, и воздвигали монументы, и многие мои друзья звали меня отдать дань памяти, я... нет, ни в какую. И не потому, что я все еще боюсь. Просто знаю: на самом деле все они живы.

Крапинки

Моя вера в Бога началась с того самого мышонка у реки, которого я убила в семь лет. Вообще-то я не собиралась никого убивать. Просто шла под вечер с Рыжиком (это я свою подругу так величала — Рыжик) по берегу Лихоборки. В руке у меня была палка с гвоздем — тоже ничего удивительного: место безлюдное, хоть и в двух шагах от микрорайона, мало ли на кого нарвешься, поэтому даже малыши вооружались — всем, на что хватало подручных средств и, конечно, фантазии. У ног шуршала прошлогодняя трава — и из

нее-то, из этой самой травы, выскочил прямо к нашим ногам мышонок. Я не успела ничего подумать — сработал охотничий инстинкт, развитый у маленьких детей не хуже, чем у животных. Размахнулась и ударила. И очень искренне удивилась, что зверек лежит и не двигается. Рыжик захлопала в ладоши: «Попала! Прямо гвоздем!». «Убила, что ли?» — не поняла я. Рыжик взяла у меня палку, потыкала острием в мышонка. Сказала солидно, со знанием дела: «Кажись, да...».

Мы уложили мертвого противника на палку (уже были, видно, наслышаны про погибших воинов, которых в древности приносили на щите) и торжественно отправились его хоронить. Хотели сначала похоронить у реки, но потом решили, что это неразумно: Лихоборка разольется, выйдет из берегов и размочит могилу. Испортит всю нашу работу. Поэтому залезли на самый высокий холм. Извозились в глине — что поделаешь, да признаться, мы и до этого уже были чумазыми до ушей. Несколько раз мышонок падал со своего щита, мы снова поднимали его и укладывали — все молча, чтоб не нарушать важности момента. На холме долго выдирали траву и выковыривали могилку — земля уже растаяла, но из-за корней сделать в ней углубление оказалось делом непростым и небыстрым. Мы заботливо уложили убитого зверька в ямку. Бросили по комку земли. Почтили его память минутой молчания — мы уже знали из телевизора, что так всегда делают, когда в Кремле умирают важные люди. «А завтра придем сюда, разроем его и посмотрим скелет!» — серьезно проговорила Рыжик и мотнула отросшей челкой. Я ничего не ответила и потрогала собственный лоб — он был отчего-то горячий, как только-только вынутая из костра картошка. Это и спасло меня в тот вечер от материнского нагоняя за позднее возвращение.

Ни назавтра, ни через неделю мы не пришли. Ночью я заболела ветрянкой. Болела долго и тяжело — несколько ночей лежала в жару, скрипела зубами и несла разную околесицу. Палка с гвоздем валялась в тамбуре. Когда жар, наконец, спал, и я смогла поутру подойти к окну, выяснилось, что в мир пришло настоящее лето — с листочками, птицами и одуванчиками.

Разумеется, я стала упрашивать бабушку отпустить меня на улицу, и она, в конце концов, подчинилась моему яростному напору. Но только чтоб на полчаса — не дольше. И со двора не уходить, а посидеть с Рыжиком на крылечке. Рыжика не надо было долго упрашивать — она, бедняга, так стосковалась по мне за эти карантинно-ветряночные дни, что примчалась

мигом. Разумеется, ни на каком крылечке мы сидеть не стали: не детсадовцы же, а вполне себе солидные люди — ученицы первого «А» класса, почти уже второго. Прихватив тайком от бабушки мою палку, отправились на речку — она не разлилась еще, только многообещающе бурлила под мостом, точно закипала.

Мы перебрались на другой берег — и зажмурились: миллионы, миллиарды одуванчиков окружили нас. Луг был желтым до самого горизонта, а за горизонтом ведь тоже, наверное, были они — одуванчики. Солнце задиристо лупило в наши затылки, а мы — хилые городские дети — застыли, пораженные очевидностью победы жизни над смертью. От земли, от солнца, от луга веяло прощением и лаской. Именно в тот миг я поняла, что не убивала. Потому что никто, никто в мире не может отнять жизнь — даже ударив по ней палкой с гвоздем. «Мы что, не пойдем сегодня туда?» — спросила Рыжик. «В другой раз...» — лаконично ответила я и незаметно отбросила палку. Потом освободившейся рукой взяла Рыжика за руку. Мы снова шли — долго-долго, ведь так много мест на свете, где нас, может быть, давно уже ждут. На самом деле, так оно и было — нас ждали. Только мы еще не знали, что это Бог.

У писателя Владислава Крапивина есть повесть «Оранжевый портрет с крапинками» — там про пацана, который мечтал о Марсе и однажды туда попал. Хорошая книга, настоящая. Для нас, малолетней братвы, рожденной в СССР, который вскоре благополучно распался, христианство было как раз таким Марсом. Вы спросите: это что, все пионеры Союза мечтали в детстве стать христианами? А я вам отвечу на это: «Вы видели среди детей хоть одного стопроцентного атеиста?».

Ну так вот. В девятнадцать лет нас с подругой Зоей послали в лагерь для одаренных подростков. Лагерь находился в Суздале, юные музыканты занимались там целыми днями с известными профессорами, а по вечерам давали концерты. Мы с Зойкой, посмотрев на все это дело, возблагодарили Бога, что мы не музыканты, а поэты. Мы могли шляться где хотели — главное, чтоб к отбою были на месте. Скучать не приходилось — купались, рассматривали заброшенные храмы и часовни, которых в городе в ту пору было в избытке... Обычно мы ходили вдвоем, а в тот день я почему-то отправилась одна. То ли мы поссорились, то ли еще что-то — короче, пошла я одна. Иду-иду, смотрю: стоит Храм. С крестом, как и положено, но издали

видно, что заброшен. В окнах нет стекол — только ржавые решетки, вокруг заросли крапивы в человеческий рост, ящики какие-то свалены — видимо, от овощей или фруктов, штукатурка со стен облетела, наверное, еще в прошлом веке... Отыскала я дверь, даже пробралась к ней, подергала — заколочена. Обошла кругом. Жаль, думаю, окошки так высоко — ведь не ухватишься и не заглянешь. Хотя почему не заглянешь? Поставить эти ящики друг на дружку — и распрекрасно заглянешь. Поставила — и, хоть с трудом, но добралась до окна. Оно, по счастью, широким оказалось — я легко улеглась животом на теплый от солнца камень и, придерживаясь за решетку, глянула внутрь.

Внутри было не темно, а полусвет стоял — синий какой-то. Это от фресок, наверное, — в них много было синего цвета. Пола не имелось — осколки кирпичей, как всегда в заброшенных зданиях. Теперь я уже и не вспомню, в какой момент я услышала пение. Пел хор. Негромко пел, но и не тихо. Слаженно так пел — регент, наверное, хороший... Воцерковленная девочка, я не могла обмануться. Пели начало «Херувимской». Шла Литургия. Я попыталась выпрямиться, чтоб встать, как положено в этот важный момент службы, — и едва не упала вниз, в крапиву. Вцепившись в решетку, перевела на секунду взгляд в сторону — и тут-то вспомнила, что болтаюсь на окне заброшенного Храма. Какая Литургия?! Я же только что своими собственными глазами видела заколоченную дверь! В следующее мгновение, оцепенев от ужаса, я рухнула-таки вниз. Обстрекалась крапивой, поранилась в кровь о какие-то осколки, но не заметила этого и бросилась бежать без оглядки.

Пришла в себя я только на мосту, ведущем к лагерю. Спустилась под мост, плюхнулась в траву. Ладони сильно кровили, но подойти к речке и обмыть их не было сил. Я попыталась призвать на помощь логику: хорошо, может быть, в Храм есть другой, тайный, ход, о котором я не знаю. И какие-то люди пришли туда и служили Литургию... Ох, но я же видела отчетливо весь Храм. Там были кирпичи на полу и фрески на стенах, и еще этот странный синий свет. Но не было никаких людей. Да, но я же своими ушами слышала, как поют Херувимскую! Померещилось? Не может быть — я слышала ясно и отчетливо! Позвать кого-нибудь? Надо бы, конечно, позвать! Но вдруг, если все узнают про Херувимскую, в Храме перестанут петь? Да кто перестанет-то? А кто это пел? Побродив вдоволь в своих умозаключениях по кругу, я поняла, что логика мне на этот раз явно не помощник. Но что было делать?

Страх постепенно оставил меня. Кругом трещали кузнечики. Я заставила себя встать, подойти к воде и опустить в нее окровавленные руки. Потом я улеглась на живот, подтянувшись вплотную к воде. Долго и жадно глотала реку — вместе с ряской и своим отражением. Порешила, что никому ничего не скажу. Я никому и не сказала. Я и сейчас не скажу. Вы же не знаете, где стоит этот Храм.

Пионерки и братья

В ранней юности, прочитав детскую Библию, я поняла, что мне очень жалко Каина. Нет, Авеля, понятно, тоже: это не дело, когда кого-то убивают. Но Каина, похоже, никто никогда не любил — ни брат, ни родители. А нелюбовь — страшная вещь. Если что и убивает нас на свете, то именно она.

Это все вот к чему. В школе я возилась с подшефными малышами. Я им прикалывала звездочки в первом классе и повязывала галстуки в третьем. Как ни странно, малыши меня любили и ходили за мной табуном. Точнее, пионерским отрядом. Когда они перешли в четвертый, я перешла в другую школу. Нет, конечно, поначалу все грустили и скучали: и я, и мои юные ленинцы.

Потом... потом меня настигла Лилька. Вообще-то ее звали по-другому, просто она не просила меня писать о ней рассказы. И это удивительно, что именно она: обычно такие — красивенькие отличницы из богатых семей склонны первыми забывать и учителей, и разных пионервожатых. Лилька уже в первом классе была такой красоткой, что прохожие на улице оборачивались и долго провожали ее глазами. По типуажу она, пожалуй, походила на Наталью Белохвостикову — звезду советского экрана. Курчавая, белокурая, с дивными зелеными глазами и очаровательным ртом. При этом единственная и любимая дочка у родителей — тоже, между прочим, красивых, как в кино. Мальчишки, понятно, влюблялись, девчонки мечтали дружить. А Лилька вдруг возмечтала обо мне. И стала звонить, заходить — словом, набиваться в подруги. Нет, я, конечно, тоже была рада ей, особенно поначалу. Но нас разделяло бурное море величиною в целых пять лет! То есть, когда мне стукнуло пятнадцать, ей — бедняжке Лиле — все еще было десять, и ни годом больше. Поэтому вскоре я начала бесцеремонно сворачивать наши телефонные разговоры. Ссылалась на безумную занятость и уроки.

Однажды ей все-таки удалось вытащить меня в гости. Жили они в соседнем доме, но, едва переступив порог Лилькиной квартиры, я открыла рот — даже при всем моем тогдашнем аскетизме: таких квартир я еще не видела. Хрустали — картины — ковер с фиолетовыми бабочками — невиданные куклы в детской. И еще настоящий ананас в холодильнике, и еще много-много всего. Впрочем, удивления моего надолго все равно не хватило: ну, мало ли у кого какие колечки, сережки и ананасы, не станешь же теперь со всеми дружить!

Но Лилька не сдавалась. Лилька вскоре сказала мне, что у нее родился брат. Брат? У Лильки? Вот это уже интересно! Вот это новость так новость! Назвали Алешей. Он... такой хорошенький, он не хочет сосать соску, ему купили красного бегемота и крошечные джинсы — на вырост. Все эти истории — про соски и бегемотов — я готова была выслушивать теперь часами. И скоро — о, очень скоро! — поняла, что никакого брата, похоже, нет в помине. Нет, я очень хотела верить ей, ведь братишка — это так здорово! Я вот, хоть и здоровая девчонка, кажется, все на свете отдала бы, чтоб у меня родился братик! Но у меня не было брата, как не было хрусталей, картин, импортных кукол. Что ж, каждому свое.

Стараясь прогнать навязчивые мысли, я однажды завернула к Лильке без приглашения — ее дома не было, Лилькин красавец-папа настойчиво угощал меня дивными пирожными с половинками апельсинов. Но... ни коляски, ни кроватки. Никаких свидетельств того, что в квартире младенец. Ох, Лилька, Лилька... Я пребывала в терзаниях. И не только из-за обмана. Как же так, я сама — этими вот руками — повязала ей пионерский галстук! Пионерка и вранье несовместимы — ежу понятно! А теперь вот я покрываю ее, даю повод врать дальше, придумывать дурацкие истории про несуществующего брата. Каждый раз, вешая трубку, я торжественно клялась себе, что это в последний раз. Что завтра я непременно поговорю с ней, напому про совесть, про то, что пионеры не врут. И — молчала. Как, наверное, одинока бедная Лилька в этой своей раззолоченной клетке, с родителями, похожими на голливудских актеров, если вот уже несколько месяцев с таким упоением рассказывает мне о брате, которого нет! Я так ничего и не сказала ей — просто не повернулся язык. Потом Лилька стала звонить реже и реже...

А потом, через два года, я узнала, что брат родился у меня. Точнее, у моего — еще не знакомого на тот момент — отца родился сын. Откуда я узнала, не помню, из телевизора, что ли... Мама тогда работала в школе, начались

каникулы, поэтому некому было удивляться идиотскому крику, с которым я ворвалась в пустой класс: «Мама, у меня родился брат!». «Ну и что? — спокойно спросила мама. — Что же теперь делать?». Я принялась размахивать руками. «Как что? Я приду к ним и скажу: покажите брата!». «Да, ты придешь. А они милицию вызовут. И спустят тебя с лестницы. Потому что любой нормальный человек защищает свою семью»... Я побрела назад. Неужели и вправду вызовут милицию? Там же брат... мой брат! Я плакала целый день и половину ночи. А потом подошла к окну и подумала: «Как хорошо, что в этом темном городе у меня есть брат!». И тихонько засмеялась — как будто мой смех мог разбудить братишку, спящего в незнакомой чужой квартире.

Вы, наверное, хотите знать, что потом приключилось с Лилькой? Лилька родила дочку. В пятнадцать лет. Я случайно встретила свою бывшую пионерку — Лилькину одноклассницу, — она мне и рассказала. Лилька связалась с дворовой компанией, там был какой-то мальчик. Забеременела. Родители ничего не знали — до самых родов. Потом они уехали в субботу на дачу. А у Лильки начались родовые схватки. То ли она кричала громко — и соседи услышали, то ли... В общем, подоспевшая «скорая» увезла в больницу уже двух девочек. Я тут же разыскала Лилькин телефон. Голос у нее был неожиданно веселый. «Помочь? Нет, не нужно. Просто забегай в гости! Родители? Ну, мама, кажется, догадывалась... Замуж? Нет, сейчас не собираюсь — мне и так сложно, вот, может быть, позже»...

Когда — через два года — я вывезла свою новорожденную дочку на первую прогулку, то неожиданно встретила Лилькину маму — она гуляла с внучкой. Рассказала мне, что ушла с работы и вот — теперь с ребенком. Лилька учится на стоматолога и собирается замуж. Не за отца ребенка, а за другого. Я отметила про себя, что девочка хорошенькая, но куда ей до красавицы Лильки! Больше я почему-то их не встречала.

Лилькиной дочке сейчас, должно быть, уже лет девятнадцать. Мой брат тоже вырос — недавно я случайно увидела в фейсбуке его фотографию. До этого отец показывал мне какие-то снимки, но там он совсем ребенок, а сейчас уже взрослый парнишка — красивый, разбитной и нисколько не похожий на меня в юности. Разве что глаза немного...

Я сейчас подумала вот о чем. Если бы Каин плакал, как я в ту далекую ночь, — он бы никогда не смог убить Авеля.

Трамвайное яблоко

Я уже давно могу позволить себе самые изысканные фрукты, но не люблю их и не ем. Из всех фруктов на свете мне интересно то самое библейское яблоко, которым Ева так легкомысленно поделилась с Адамом. Обычно этой истории придают какой-то нелепый физиологический подтекст, хотя ничего подобного в Библии не было, смысл первородного греха в том, что Ева и Адам ослушались Господа, нарушили Его волю. Да, имелось чудесное древо, на нем росли не менее чудесные яблоки, а вот прикасаться к ним, пробовать — ни-ни, сказано же. Нарушать волю Отца, который заботится о тебе, всегда скверно. Но с этого все, собственно говоря, и закрутилось. Если бы не это детское непослушание, не было бы ни Каина с Авелем, ни земли нашей, ни, понятно, нас. Не было бы радостей, горестей, болезней, выздоравливаний, разлук, смертей, яблок в августе. Потому что у Отца имелись другие планы. Возможно, все сложилось бы лучше, но это «лучше» мы бы никогда не узнали. Оно было бы не про нас. Какая нам разница? Так что хорошо или плохо знание — судите сами.

Однажды мы с моим воспитанником Максом ходили на Нагатинскую смотреть трамваи. Макс три с половиной года, и он обожает трамваи. Мне, его гувернантке, сорок один, я тоже люблю трамваи. В этом — да и во многом другом — мы похожи. Когда мы идем вместе, нас всегда принимают за мать и сына, хотя Макс синеглазый и русский, а я армянистая от рождения. Но не суть.

Рядом с трамвайной веткой, прямо над рельсами, стоят яблони, и с них вовсю сыплются яблоки. Конечно, дикие и неценные. Мелкие. Но в детстве я ела, в основном, такие. И все мои друзья ели такие, и все ребята с нашего двора — тоже. Потому что ничейных яблонь в округе имелось в избытке, а денег в семьях было всегда в обрез, на такую глупость, как фрукты, обычно не оставалось. Но никто не унывал, выкручивались, как умели. Обдирали яблони вокруг Борисовских прудов, партизанили в бескрайних садах «Коломенского». Однажды я пошла на неслыханную дерзость — залезла в сад позади храма Казанской Божьей Матери, который называли «архиерейским», — там тоже были яблони. Побродила по дорожкам, засыпанным белым песком, так сильно смахивающим на сахар, что хотелось набрать полную пригоршню и засыпать в рот, посмотрела на жирные, пахучие флоксы, похожие на восточных теток на воскресном базаре. Яблок на ветках не было — ни одного. То ли успели собрать, то ли их вообще там не

водилось, хотя и странно это, яблони же — вот они. Так и ушла ни с чем, опрокинув на прощание здоровую металлическую лейку с барахтавшимся в ней лягушонком.

Еще, помню, навещали мы братеевские огороды — где Москва-река делает крутой поворот направо и полным-полно больших и маленьких бухт. Однажды я увидела там, за одной из самодельных оградок, на кустах красные флаги. Сперва подумала, что почудилось или рехнулась вконец. Подкралась поближе — а там малина. Кустов двадцать, усыпанных спелой, крупной, уже разлагающейся ягодой. Ну, вернулась домой, дождалась вечера. «Пусть только хозяева не вернутся, пусть», — шептала в сумерках, подходя к огороду. И что? Малины я тогда набрала столько, что и семью накормила от пуза, и варенье бабушка сварила, и руки еще долго малиной пахли — красота!

Теперь вы сами понимаете, что сложно мне спокойно пройти мимо дерева с дикими яблоками — плодами моего детства. Тем более, что одно яблоко — крупное, глянцевое, холодное — как будто само просится в руки. Ох, если бы я была одна! Схрумкала бы в один момент, и все дела. Но со мной Макс, а он наверняка потребует угостить и его. Мы ведь всегда делимся друг с другом: если я приношу булочку, Макс по-хозяйски отламывает себе половину, если я чищу для Макса банан, он точно так же отделяет половину и пытается запихнуть мне в рот: «ешь, это вкусно...». Макс сидит на велосипеде и внимательно следит, как я запихиваю уличное яблоко в карман куртки. «Давай его поделим и съедим!» — неуверенно предлагает он. «Дома...» — хмуро отвечаю я и берусь за ручку велосипеда. Макс поворачивается ко мне спиной. Я напряженно смотрю в его русоволосый затылок. Потом неслышно достаю яблоко и откусываю кусочек. Детство накрывает меня с головой. Конечно, нехорошо получается с Максом... Но как дать ребенку яблоко, все лето провисевшее в городе? Сколько трамваев прошло мимо него? Один вред. Дать — и попросить, чтоб не рассказывал маме? Ложь, хитрость. Нарушаем запреты, да еще и обманываем. Да и потом... Зачем, для чего Максу это дурацкое яблоко? В его распоряжении заграничные фрукты. А еще домашние учителя, домашние врачи, особняк под Москвой, огромный пруд с золотыми рыбками. Рай, короче. Я, между прочим, и без того прирастила его к развлечениям малолетних клошаров — он полюбил уходить со мной во двор пятиэтажки и распевать во все горло песни, однажды мы нашли там тележку, украденную из супермаркета и брошенную за ненадобностью. Несколько дней я катала в ней Макса по крошечному двору пятиэтажки, он

смеялся, мы хором пели «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»». Если он попробует это яблоко — он узнает вкус моего детства. Станет похожим на меня. Мы с тобой одной крови — ты и я. Я люблю Макса и хочу, чтоб он сделался похож на меня. Но отнимать у кого-то рай, чтоб он стал с тобой одной крови... это... это...

Я доедаю яблоко. Размахиваюсь что есть силы — и швыряю огрызок на трамвайные рельсы. Тут Макс оборачивается ко мне. «Что, вкусное было яблоко?» — тихо, безо всякого ехидства, спрашивает он. Значит, знал, чувствовал затылком, что я лопаю без него, не желая делиться? Знал — и ни разу не обернулся. Вот это выдержка. «Я куплю тебе петушка...» — обещаю я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Лучше пряник... — шепчет Макс. — Белочку...»

Мы доходим до кофейни, и я покупаю Максу пряник. Белочку. Он разламывает ее на две части — и половину протягивает мне. «Не нужно, ешь сам...» — «Чего ты? Вкусно же...».

Я понимаю, что счастлива. И потому, что пряник, в самом деле, оказался необыкновенно вкусным. И оттого, что Макс — совершенно не похожий на меня внешне — все же так сильно на меня похож. Из моего ребра — это уж точно. Или я из его ребра. Какая разница?

Галь-Валь

Во времена моего детства считалось, что школьными учителями становятся одни неудачники. Даже мамы с московской окраины, где я тогда жила, пытались всеми правдами и неправдами уберечь дочерей от учительской доли.

В десять лет я влюбилась в учительницу русского языка и литературы со странным именем Мира. Была она старше меня лет на пятнадцать, а значит, родилась где-то году в шестидесятом, когда девочек уже не называли Октябринами и Энгельсинами, но мода на чудные имена тем не менее сохранилась. Стоит ли описывать мои чувства? У всех влюбленных в любом возрасте они одинаковы. Нет смысла повторяться. Загляните в любой роман — и узнаете. В общем-то, ничего странного в этом событии не было: маленьким девочкам свойственно влюбляться в красивых наставниц. Современная психология, говорят, это даже приветствует.

Дело все в том, что красивой Мира как раз не была. Она была... незащищенной, что ли? Высокая, худая, коротко стриженная, с комсомольским значком, приколотым на карманчик мальчишеской блузы, она походила скорее на не выросшую девочку, чем на учительницу. Однажды, заметив царапину на бледном Мирином запястье, мой сосед по парте Сашка Селезнев хмыкнул: «Нашу Миру кошка поцарапала...». Я глядела на царапину, как на тлеющий бикфордов шнур. Хуже всего было то, что я никогда, никогда не смогу ее защитить ни от кого и ни от чего. Мне захотелось быть с нею, быть ею, стать с ней единым целым. Я не понимала тогда, что в эти минуты так оно и было, — такова закономерность любви. На уроках я, понятно, не сводила с нее глаз. Если она замечала это и улыбалась мне — я улыбалась в ответ. Потом ее улыбки стали... не то чтобы натянутыми, но какими-то спрашивающими. Вот это уже совсем не входило в мои планы. И я пустилась на хитрость. Едва поймав ее взгляд, я скашивала в сторону глаза и слегка прикрывала их ресницами. Попробуй тут заметь в моем взгляде что-то такое!

Однажды Мира оставила меня после уроков переписывать сочинение. Теперь она сидела за своим столом и смотрела на меня требовательно, неотрывно. Я почти разозлилась. Сердце мое и без того громко болело — зачем еще добавлять? Наскоро дописав последнюю строчку, я бросила тетрадку на учительский стол и метнулась к двери. «Оля, подожди...» Она подошла ко мне. «Оля, я хочу спросить тебя... — я вновь почувствовала цепкий взгляд ее серых комсомольских глаз. — За что ты меня не любишь?» Высокая, нескладная девочка стояла напротив меня возле классной двери и нервно переступала длинными жеребеночьими ногами в красных босоножках. Я смотрела на ее босоножки. Мне хотелось кричать от невозможности сказать в этом мире правду! Мой затылок едва доходил до ее открытого локтя. Тут даже открывать рот было бессмысленно. Месяц спустя я перешла в другую школу.

Влюбленность еще долго вспыхивала во мне, но уже подобно сломанной электрической лампочке: внезапный жар и свет сменялись многомесячным холодом и тьмой — и обратно. Я думаю, что ее нет в живых, — мне так легче. Никогда не приходило в голову ее разыскать — да и зачем? Узнать, где и как растит внуков пожилая женщина с выцветшими глазами? Нет уж, дудки! Она умерла — и точка. Ту, мою, сероглазую стриженую Миру забыли, наверное, все на Земле, а я отчего-то помню. Я точно знаю: она была моей первой любовью.

В новой школе у нас была физичка Галь-Валь. То есть имя-отчество у нее были вполне человеческими — Галина Валентиновна, но это пока она не встретилась в жизни со мной и с моей подругой и одноклассницей Багирой, тоже крайне скорой на креативные решения и неумеренно острой на язык. Недолго думая, мы прозвали старушку Гальванометром. Сокращенно — Галь-Валь.

Детство Галь-Валь пришлось на военные годы — на блокаду и все прочие ужасности того славного времени, поэтому в начале девяностых ей никак не могло быть уж слишком много лет. При этом выглядела она совсем старенькой бабушкой — сутулая, седая, в вечно шаркающих домашних туфлях. «Ну что за перемены такие короткие, — доверительно жаловалась Галь-Валь нашему классу в начале урока. — Опять в туалет не успела сходить...» Хваталась за живот и выбегала за дверь. Окна в классе дрожали от хохота. Мы-то, в отличие от доверительной Галь-Валь, за перемену успевали переделать массу всяких полезных и бесполезных вещей — даже сбегать за школу выкурить запасливо стыренную дома сигарету. Впрочем, если над Галь-Валь и посмеивались, то чаще всего не зло. Слишком уж не располагала она к агрессии извне — морщинистая, подслеповатая, беспомощная. Она никогда не чинила нам подлянок, не занижала оценки. Однажды Галь-Валь ударилась на уроке в воспоминания. Поначалу на это никто особо не обратил внимания. Но очень быстро в классе наступила абсолютная тишина. Лично я никогда в жизни не слышала больше такой тишины. Галь-Валь рассказывала нам про блокаду: «Сначала было холодно, а потом стало тепло, и я заснула рядом с мамой. И знаете, ребятки, такие хорошие сны мне снились, прямо хоть и не просыпайся вовсе! Все вокруг в цветах — желтых, красных, фиолетовых... Солнышко светит, тепло-тепло... И, по всей вероятности, скоро, совсем скоро осталась бы малая девчушка в своих цветных снах дожидаться Второго Пришествия. Но тут в лицо ударил резкий луч фонаря. Снова стало холодно. И глухой, простуженный голос произнес откуда-то сверху: «Здесь два». Это заявила санитарная бригада, собиравшая по ленинградским квартирам трупы. Галочка что есть силы зажмурила глаза и прижалась к матери, чтобы согреться, но та была еще холоднее, чем воздух в комнате. Ее невольное движение не укрылось от незваных гостей. Тот же хриплый голос поправился: «Один! Девочка жива...» Девочку быстро оторвали от мертвой матери, эвакуировали из осажденного города и поместили в детский дом где-то под Вологдой. «И там меня удочерила учительница, — улыбка слегка трогает старческие губы Галь-Валь. — У нее

муж на фронте погиб, своих детишек не было, а я-то неприглядная, прозрачная совсем ходила, уж не знаю, чем я ей приглянулась»...

Галь-Валь еще долго рассказывает нам, какие неприятности она доставляла своей приемной матери, едва-едва войдя в полосу переходного возраста. Наотрез отказывалась называть удочерительницу мамой. Убегала из дома. Грубила, срывалась на крик (глядя на Галь-Валь, даже на нас, окраинных обормотов, никогда не повышавшую голос, в это невозможно было поверить). Несколько раз соседи видели девчонку с сигаретой, сигарету отбирали, притаскивали за шиворот к матери. «И вот однажды мама моя сказала: «Ну, давай с тобой поговорим по-человечески». И с тех пор я совсем другая стала...» О чем уж там «по-человечески» говорили одинаково измочаленные войной женщина и ее приемная дочка, я не знаю. Хотя Галь-Валь, наверное, рассказывала и об этом, просто я забыла. Но думаю, что доброту, порядочность, любовь к нам — шпанистым, изначально любовью обделенным — Галь-Валь переняла именно у той солдатской вдовы, удочерившей в войну чужую прозрачную девочку — ленинградку. Ведь все в мире имеет причину и следствие — это даже мы в свои невеликие годы понимали четко.

Я считаю учителей самыми счастливыми и удачливыми людьми в мире. Любых учителей. А своих — особенно. Им была отмерена не одна жизнь, а тысяча жизней. Они перебрасывали себя через собственную смерть так же легко, как я подростком перебрасывала мяч через волейбольную сетку. Они выиграли сражение, дав всем — и чужим, и близким — фору в сто очков. Они не догадывались только об одном: потенциальным победителям в этом мире всегда приходится труднее, чем побежденным. Зато победителей как будто бы не судят. Я точно знаю — не судят.

Элвис Пресли и зеленые ежики

В жизни я была по-настоящему пьяна всего четыре раза, и тут виноват ежик. Я вам сейчас объясню. Мне было четыре с чем-то года, на прогулке мы с бабушкой встретили ежа, он шмыгнул от нас в траву. Я орала и топала ногами, а бабушка обнадеживала, что ежик никуда не денется — мы увидим его завтра, когда пойдем гулять. Назавтра задождило, и гулять мы не пошли, бабушка прилегла после обеда отдохнуть, было скучно. Я послонялась по квартире, потом добралась до кухни, где за огромной черной табуреткой

стояла целая батарея пустых бутылок. Присев на корточки, я принялась разглядывать яркие наклейки на боках этих диковинных зеленых рыбин. И — о чудо! На дне почти каждой из них плескалась темная вода. Или не вода? Я потянула носом — пахло не похоже ни на что в мире. Набралась храбрости — и глотнула. Внутри стало горячо и непонятно. Я засмеялась и потянулась за второй бутылкой. Я не помню, когда появился ежик, — пахучая клейкая жидкость непонятным образом приблизила меня к нему — далекому, прекрасному и самому желанному в мире. Но отчетливо знаю: ежик был. Ползал между бутылками, дразнил меня своими колючками — почему-то зелеными. Маскировался, может? Нашли меня через час — я крепко спала рядом с опрокинутой табуреткой, крепко сжимая в руке горлышко пустой бутылки из-под портвейна.

Это был первый раз, во второй раз я напилась в восемнадцать лет, когда умерла мама, в третий — через три года, в каком-то кёльнском кабаке, в компании местной богемы, и в последний — этой осенью. Но я, как всегда, опережаю события.

После похорон мамы вдруг выяснилось, что у нас с сестрой в квартире просто склад винно-водочной продукции. Кто и зачем приносил все это добро в дом, где в живых остались всего-навсего две небольшие девчонки, — я не знала тогда и, уж конечно, не знаю теперь. В один из дней я вдруг поняла, что стала взрослой. Взрослые все пьют — это я тоже знала. И откупорила бутылку водки. Глотнула, потом еще. Потом мне захотелось, чтоб мама — если, конечно, эта хваленая вечная жизнь на самом деле существует — дала о себе знать. «Мамочка, пожалуйста, если ты есть, качни люстру!» — сказала я шепотом. Села на ковер, прислонилась к стене, зажав ногами бутылку. Водочная емкость была уже почти пуста, когда на пороге квартиры появилась судьба — в лице сестренкиной классной руководительницы Ирины Николаевны (между собою мы звали ее «Николавнушка», и так зовем до сих пор). К тому часу качалась уже не только люстра — вся комната раскачивалась, точно во время землетрясения. Николавнушка — жена пьющего мужа — мигом поняла, в чем дело. Перетащила меня на кровать, отхлестала по щекам, а потом, кажется, заплакала.

Ну вот, а в Кёльн я попала благодаря студенческому обмену. Подружилась там с семьей русского художника-эмигранта Игоря Ч. Игорь с женой однажды пригласили меня на выставку — такие выставки часто проходили в подвальчиках и мансардах на берегу Рейна. Мы выпили шампанского, потом

еще с кем-то познакомились, потом все вместе — большой, разномастной компанией: художники-поэты-какие-то красотики — отправились в полутемное кафе. Там во всю стену был портрет восхитительного плейбоя в джинсах — и я мгновенно влюбилась. Хотелось приблизиться, прикоснуться, присвоить его — во что бы то ни стало. Парень загадочно молчал, глядя в мое разгоряченное алкоголем лицо. Какая-то девушка — рыжеволосая и худенькая — под села ко мне, взяла за руку и сказала по-русски, с сильным акцентом:

— Оля... тебе хватит пить...

— Кто это? — я по-прежнему смотрела на мускулистые плечи плейбоя.

— Это? Это Элвис Пресли, — девушка сжала под столом мою руку, я не отняла ее, но и не ответила на пожатие. — А меня зовут Лыиза...

Я впервые посмотрела на нее. Кажется, она была красивой — распущенные по плечам волосы, веснушки, белое, темноглазое лицо.

— Лиза? Мою маму звали Лизой. Слушай... мне нужно, во что бы то ни стало, найти этого человека.

— Оля... он уже умер. Хочешь колы?

— Не хочу. Хочу лечь.

Она придвинулась ко мне, и я опустила голову на ее плечо. Потом много раз я бродила по берегу Рейна, забредала в разные кафе, но так и не нашла своего Элвиса. Спросить у друзей почему-то стеснялась.

А в последний раз вышло совсем по-идиотски. Я возвращалась с дачи, и навигатор, в объезд пробок, почему-то повел меня через подмосковный поселок Кратово. Там жила женщина, которая хотела меня удочерить после смерти мамы, но не удочерила. Она была полной, темноглазой, с короткой стрижкой и милым, выразительным, еврейским лицом, еще у нее, кажется, подрастал маленький сын. Где именно она жила? На какой-то из этих улиц под высоченными соснами, название такое... коммунистическое — то ли улица Ленина, то ли Карла Маркса, а может, Советская? У обочины горел костер — как и тогда, почти четверть века тому назад. Я остановила машину, вышла, протянула руку к огню — и даже не почувствовала, что закололо ладонь. Пахло яблоками, лаяли собаки, темнело и холодало... вот и осень, кажется — откуда взяться теплу и свету? Я села в автомобиль и погнала в

Москву. Дома было тепло и сумеречно, заждавшийся муж встретил меня, предложив согреться каким-то зеленоватым напитком из красивой бутылки.

— Вино. Из кактуса. Называется «текила», — гордо пояснил он.

— Из кактуса? — переспросила я. — Прелестно. То, что нам сейчас нужно.

И накатила целый стакан ядовито-зеленой, ежово-колючей жидкости. Муж, зная мое отвращение к крепким словам и напиткам, с удивлением и некоторой тревогой созерцал, как я медленно, неотвратно вливаю в себя текилу. Что я в тот вечер творила в фейсбуке — теперь уже известно одному Богу. Но не только. По словам очевидцев, с трудом дошедших наутро до моей несчастной похмельной головы, битый час уговаривала заслуженную преподавательницу Литинститута — приятную во всех отношениях даму шестидесяти с чем-то лет, к тому же супругу пожилого священника — вот прямо сейчас, этой же ночью, ехать со мною кататься на мотоцикле по Переделкину. Почему именно на мотоцикле, а не на межпланетном лайнере, — хоть убейте — не помню. Вроде бы даже несчастная женщина — конечно, не подозревая, что я нахожусь под несокрушимой властью зеленых ежей, — почти согласилась на эту немыслимую затею, а впрочем, не берусь утверждать наверняка. Одно знаю точно: дама, несмотря на почтенный возраст, была на диво хороша собой — белокурая, с синими глазами, совершенно не похожая на мою незадачливую удочерительницу из ранней юности. Хотя, возможно, в этот раз я — именно что — шла от противного...

Бабушка и самолет

Я про этот случай почему решила рассказать? Старшая дочка напомнила. На днях ей задали сочинить рассказ, темой которого должен был стать случай, изменивший жизнь семьи, — и все это на английском. Правильно, хватит дурочку валять, через год ЕГЭ. «А если я расскажу про бабушку и самолет?» — задумчиво произнесла дочка. Историю «про бабушку и самолет» она слышала от меня еще в раннем детстве, а тут вот выдала... в самую точку, минометчик! Собственно, героиня этой истории мне бабушка, а дочери — прабабушка, но она привыкла говорить вот так, моими словами, поскольку «бабушку Веру» вовсе не помнит: немного разминулись они, дочь родилась через шесть лет после бабушкиной смерти.

Короче говоря, случилось это в сентябре сорок первого года. Под Москвой, понятно, стояли немцы, бабушка — в то время двадцатилетняя

аспирантка — трудилась на химическом заводе, и вот с этого завода отправили молодежь помочь колхозу, задышавшемуся, как видно, без рабочих рук, которые — вместе с их владельцами — были поспешно мобилизованы и занимались теперь на фронте совсем другими — грозными — делами. В тот день все снопы были довязаны, кроме одного, последнего, и заводская молодежь гурьбой отправилась на обед, а бабушка осталась прикончить этот самый несчастный сноп. Примерно в такое время над полем всегда пролетал советский почтовый самолет, поэтому бабушка не удивилась и не испугалась, когда в небе послышался рокот мотора. Да что там не испугалась — она даже головы не подняла, всецело поглощенная своим немудреным делом, а когда подняла, то ахнула и почти без чувств повалилась в траву. Самолет уже был над ней, тень крыла упала на сноп, а на крыле, на крыльях то есть, чернели немецкие кресты. «Не знаю, почему он меня не убил... — говорила аспирантка Верочка, когда она была уже не Верочкой, а моей бабушкой — шел ей седьмой десяток. — Запросто ведь мог нажать на гашетку...»

Конечно, мог бы нажать. Мог. Но не нажал. И Верочка осталась жива и дожила до лет весьма преклонных, родила и вырастила красавицу-дочь — мою маму, а потом родились мы — я и сестра, и сестру назвали Верой — в честь бабушки. А ведь если б этот немецкий летчик выстрелил тогда — не сидела б сейчас моя дочь за уроками, не составляла бы рассказ про бабушку и самолет. «Может быть, разведчик тишину не хотел нарушать?» — предполагала бабушка тогда, в моем детстве. Нет, бабушка, нет. По другой причине. А может быть, я просто все выдумала — но мне хочется в это верить.

Слушай, Ганс! Или Ханс! Или Фриц, или... кто знает, как звали тогда всех этих немецких мальчиков. Моей бабушки, в которую ты не выстрелил тогда, давным-давно нет на свете, да и тебя наверняка тоже нет, но это и не важно теперь. Знай, сколько я помню о тебе, а помню я всю жизнь, всегда что-то мешало мне видеть в тебе врага. Скорей, я думаю о тебе с непонятной мне самой нежностью, которой я стесняюсь, как подростки, бывает, стесняются своего тела, — и так будет до конца моих дней. Я не знаю, как сложилась твоя судьба: в московском небе шли тогда ожесточенные бои, да и все военные годы они шли — хотя уже и не в московском небе. Мне почему-то хочется думать, что ты остался жив. Что ты не убивал наших, а, скажем, попал в плен. Что тебя не загрызли овчарки в лагере для военнопленных и не прикончил уставший от войны и работы конвоир. Ты вернулся в свою

Германию, женился на любимой девушке, а сейчас твои правнуки уже топают по утрам в школу. Как и мои дети — правнуки аспирантки Веры, которую ты не убил, — они шагают по утренним кварталам и в школьной раздевалке дуют на красные замерзшие пальцы. Мне, собственно, нечего больше сказать тебе.

Кроме одного. В память о тебе я стараюсь никогда не нажимать на гашетку. Я предпочитаю уходить прочь. Нет, ни с какой-то там гордо поднятой головой — а с самой что ни на есть опущенной, с красными от стыда ушами — я ведь очень тяжело расстаюсь с людьми, Ганс, это правда. Я не ношу оружие — и это тоже правда: в молодости носила, а сейчас нет. Но мое оружие — слово. И оно может бить больнее, а уничтожить человека — быстрее и безжалостнее, чем какая-то там допотопная самолетная пушка. Но я помню о тебе, Ганс! И я поступлю, как ты, обещаю. Можешь спать совершенно спокойно.

Когда плачут мужчины

Иногда поражаешься, как все переплетается и повторяется в мире. Не живешь, а распутываешь бесконечный клубок проводов.

Был, кажется, сентябрь сорок пятого победного года. В обычной московской школе сидели за партами обычные мальчики лет тринадцати-четырнадцати. И вот мальчик Ваня нагнулся к своему портфелю, а еще через минуту в классе вновь началась война. Резко запахло сушеной гвоздикой, потом раздался треск, и класс озарился небывалым, ровным светом, как будто за окном зажегся прожектор. Кто-то крикнул: «Ракета!». Да, ребята были детьми войны и сразу поняли, в чем дело. Конечно, Ваня поджег не ракету, а лишь расковырял осветительный элемент, иначе этот белый ракетный свет мог оказаться последним на свете для доброй половины класса. Но взрыва не последовало. Ваню — бледного, без единой кровинки в лице — утащили к директору, класс проветрили, снова раскрыли учебники. Кто-то из мальчишек спросил учительницу: «Дарья Петровна, что будет Ване?». Учительница отвернулась, ничего не ответила — и ребята поняли, что дело плохо. Исключат Ваньку из школы, а может, и в колонию засунут — нехитрое дело. Снова спросили: «Что будет с Ваней?» — уже, скорее, риторически, не надеясь на ответ, имея в виду не сегодняшний случай, а всю дальнейшую Ванькину жизнь, которая даже теперь, на фоне недавно пережитых военных

бед, представилась всем сплошным беспробудным кошмаром. Учительница повернулась к своим взволнованным подопечным:

— Ничего не будет. Не в себе он. Вчера мне звонила Ванина мама. Они получили похоронку: отец Вани умер в госпитале.

Класс ахнул. Похоронки успели получить многие. Но Ванька... он ведь даже не плакал. Просто молчал два дня — тут все совершенно отчетливо вспомнили, что Ванька, действительно, за эти дни не проронил ни слова. А потом принес и сжег на уроке ракету.

Об этом случае, рассказанном мне знакомым профессором МГУ, я думала, когда сидела в экзаменационном автобусе. Наша группа сдавала «город», по одному мы заходили в кабину, проезжали несколько метров — и выходили с несданным экзаменом: молодой майор ГИБДД, очкарик с интеллигентным, по-мальчишески пухлым лицом, старательно валил всех до единого. Каждый входил обратно в салон с красными от стыда и мороза ушами и произносил одно-единственное слово: «Разметка...». Да, утром прошел сильный снегопад, разметку засыпало, но мы — будущие водители автобуса — обязаны знать и чувствовать ее под толстым слоем снега. К тому же недавно в городе было несколько тяжелых аварий, вот автоинспекция и лютует: стремится показать, что в водители у нас берут только лучших из лучших. Но и наши лучшие водители тоже возвращаются с красными ушами. Я смотрю на них. Нет, никто не плачет. Кто-то ругается, кто-то растерян, другие угрюмо молчат, отвернувшись к окну. На стажировку мы теперь попадем неизвестно когда, пересдачу наверняка назначат недели через три — не раньше. Среди наших ребят нет мажоров — такие близко не подходят к учебному комбинату «Мосгортранса». Родители почти у всех умерли давным-давно, у многих семьи, дети, которых надо кормить, кто-то, как мой друган Саня, и вовсе один, как перст. Настоящая война идет на свете. И вернуться с нее можно только с победой или не вернуться вообще, но про это нам думать пока не хочется. И вдруг Санька поднимает голову: «У меня есть петарда, еще с прошлого года лежит... Хорош кукситься, матросы, а то, чего доброго, заревете всей группой. Давайте взорвем ее!».

— Как, прямо в автобусе? — скептически спрашивает кудрявая красавица Таня, моя подруга.

— Зачѐм в автобусѐ? — подмигивает Тане Рустам. — Автобусы — это святое. На пустырэ, за забором ГИБДД...

Петарду мы, конечно, взорвали. Ух, как она затрещала, как грохнула, какой дивный сноп искр выпустила в мрачное небо! Все засмеялись, а мы с Таней захлопали в ладоши. Эти искры, грохот, дым заменили нам слезы. Слишком мало оставалось у нас сил, чтоб делиться с этим миром своими слезами. Мы отсмеялись, пожали друг другу руки — и разбрелись, разъехались в охваченный снежным безумием вечер. Ближе к ночи мне позвонил Саня.

— Не спишь?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Тринадцатого пересдача.

— Знаю. А я отправила нашему руководителю группы предложение дружить на фейсбуке.

— Ну? А он?

— Не ответил. Правильно, зачем ему в друзьях чайники вроде нас?

— Расслабься. Наверно, не видел еще. Он хороший мужик. Небось, все ему доложили уже про сегодняшнее. Да и фиг! Зато мы петарду взорвали. Живем!

— Да...

Ночью мне приснился сон. Я выхожу на залитый солнцем незнакомый двор и вижу автобус. Подхожу к нему — и дверь кабины открывается передо мной. Я привычно запрыгиваю в кабину, плюхаюсь в водительское кресло — и слышу тихое, мелодичное шипенье закрывающейся двери. Я не успеваю выжать педаль — машина трогается без моего участия, набирает скорость, и скоро под бортом оказываются только небо и облака. Я смеюсь, но вдруг вспоминаю о наших ребятах, которые спят сейчас где-то в московских квартирах и, наверное, плачут во сне. Ничего, во сне — это не считается.

Ну вот, а мальчику Ване тогда, действительно, ничего не было. Он благополучно окончил школу и стал военным моряком. И нам тоже ничего не будет, ребята. Пути-дороги, холода и тревоги, конечно, не в счет. Мы станем водителями, будем управлять огромными «Лиазами», которые отчаянно тяжело поддаются управлению, как и вся наша жизнь. Но вы точно справитесь. И я справлюсь. Что ж нам теперь, плакать, что ли?

Новый роман

В этом рассказе я назову ее Соник — только потому, что это малоизвестное детское прозвище никто, кроме меня, не помнит. Было и другое — известное, но история почти конфиденциальная, нечего языком трепать. Впрочем, Соник, узнав, что я собираюсь написать о ней рассказ, долго смеялась и дала добро.

Короче говоря, я намылилась в театр и накануне заехала в гости к Сонику. Соник — единственная из моих друзей, к кому можно забредать вот так, без звонка и предварительных церемоний, не боясь, что хозяйка окажется не дома. Соник всегда дома. Она много лет уже болеет, из квартиры почти не выходит: не слушаются ноги. Живет с мамой-пенсионеркой, пишет фантастические романы — и совершенно довольна жизнью. Когда я прихожу к ним, то всегда оказываюсь в нашем с Соником детстве: в квартире, в комнате ну ничегошеньки не изменилось с тех пор. Ковер на стене, ходики, статуэтки, аквариум, детские рисунки, нарисованные еще нами — школьницами. Да и сама Соник все та же, что в детстве: ни одного седого волоса, ни одного вставного зуба, ни одной морщинки. Если бы не больные неподвижные ноги, можно решить, что перед вами девочка-подросток. И мама Соника, кажется, не особо изменилась — разве что поседела. Время вообще — человеческое существо: ко всем относится по-разному, есть у него свои любимчики и свои изгои.

Но это ладно. В театре, куда я собралась, служил Соников бывший одноклассник — причем, моим одноклассником он при этом как раз не был: я пришла в их школу в десятом классе, а он ушел после девятого. Стал артистом, приобрел даже некоторую известность. Соник показывала мне его фото в интернете — красивый, крупный брюнет с подкрашенными глазами. И вот тетя Женя, мама Соника, услышав про театр, пустилась в воспоминания об этом самом Павлике-артисте: и недотепу-Соника он никогда не обижал, и вообще такой интеллигентный мальчик из такой замечательной семьи, а какая у него была красавица-мама, жива ли?

И тут Соник говорит:

— Слушай... а ты можешь передать ему от меня букет цветов и записку?

Я фыркнула:

— На фиг? За какие такие заслуги? Подумаешь, «не обижал». Я тебя, между прочим, тоже не обижала в школе, а ты — меня, ну, и где мои цветущечки?

— Да не поэтому... просто. Чтоб знал, что я помню его.

— А на хрена это? Что за дурацкая сентиментальность? Да и как я передам? Твой Павлик, чего доброго, решит, что я втрескалась и бегаю за ним.

— Не решит. Я подпишу записку. И ты скажешь, что это от меня. Что тебе, сложно, что ли?

— А... может, ты сама ему передашь? Поедем вместе в этот театр, возьмем такси, с билетом как-нибудь разберемся.

— Нет. Не высидеть мне три часа — спина болит так, что спать-то не могу.

Раз так, ладно... Соник быстро накатала свое послание. Я купила большущий букет ярко-оранжевых гербер. Обычно мне не нравятся герберы — неживые какие-то, точно кошмарные пластмассовые цветы с кладбища. А эти... наоборот, такие живые оказались, так и трепетали, так и горели мягким, ровным светом, точно карманные фонарики. Ни за что бы не отдала их незнакомому Павлику, да что поделаешь, раз уже пообещала?

На сцене Павлик играл опереточного юношу Тони из буржуазной семьи — рассеянного и влюбленного, в дурацком клетчатом пиджаке. Играл он лучше всех артистов — преображался так, что сам Станиславский со своим «не верю» уж точно молчал бы в тряпочку. Высокий и полноватый, он виртуозно танцевал, пел, шутил, импровизировал. Зал истово аплодировал ему, я тоже, забыв недавнюю неприязнь. Букет гербер подрагивал на моих коленях, в кармане пиджака ждала своего часа Соникова записка. После спектакля я без труда разыскала гримерку Тони-Павлика. Думала, что там наверняка толпа восторженных поклонников, я уж как-нибудь суну букет и записку и уйду незамеченной. Не тут-то было: Павлик был один, сидел на каком-то диванчике в глубокой задумчивости. Капельки пота блестели на его напудренном лбу. Он, кажется, совсем не удивился, когда я вошла, не пошевелился даже. Я кашлянула:

— Павел? Я вам тут цветы. И вот... еще записка, — я неловко сунула цветы Павлу, все-таки вставшему мне навстречу, протянула записку. — Просили передать... ваша давняя знакомая.

Павел развернул записку, подкрашенные брови его взлетели вверх, точно опереточные стрижи.

— Она здесь сейчас? А почему... вы? Где она?

Я посмотрела на тоненькое обручальное кольцо на Павликовом безымянном пальце. Да, тут все хорошо, семья, детишки, небось, и полный зал восхищенных людей. А Соник пишет свои романы. Которые никто не читает, кроме меня и ее мамы. И не может выйти из дома — с дивана поднимается и то с трудом.

— Она в командировке. Некогда ей по театрам. Ездит по всему миру... — непонятно зачем соврала я.

— В командировке? А... она же болела... — рот Павлика открылся по-детски.

— Выздоровела, — лаконично ответила я. — Теперь занимается дизайном интерьера. У нее машина... эта... как ее?

— «Мерседес»? — простодушно спросил Павлик. Глаза его заблестели.

Все-таки он был фантастически красивым, и я, когда отчаянно врала, поневоле смотрела на его лицо.

— «Инфинити». Куча романов, трое детей...

Откуда-то из-за неплотно закрытой двери позвали: «Павел!».

Павел быстро протянул мне руку, я пожала ее.

— Огромное спасибо, что зашли! Передайте, пожалуйста, ей... — он перечислил все, что нужно передать Соннику. Мы распрощались, и я вышла в метель, фонарные отсветы, уютный зимний полумрак. Поняла: мне больно не оттого, что красавец Павел наведет справки, и узнает о моем вранье. А оттого, что не будет он ничего узнавать. Не подумает даже. Передарит оранжевые герберы какой-нибудь молоденькой приятельнице-артистке и сегодня же позабудет об этом случае.

Едва дотащившись до дома, я позвонила Соннику.

— Приболела я, Соник, не попала на спектакль. Так что, извини, поручение твое не выполнила. А записку...

— Да черт с ней, с запиской! — перебивает меня Соник. — Выкини на фиг — и все тут. Ты чем заболела? Слушай, если тебе скучно, я могу прочитать главу из нового романа!

— Что дело — то дело, давай, читай!

И Соник начинает читать мне свой новый роман.

АННА СКВОРЦОВА

На темной стороне

Восьмого марта Ольга Игнатьевна принесла в школу изображение отрубленной головы. Голова лежала на блюде, тускло мерцающем позолотой. Из раны на шее тонкой струйкой стекала кровь. Ольга Игнатьевна прислонила картину к доске, отошла подальше и с удовольствием убедилась, что все хорошо видно даже с задних парт. Прозвенел звонок. В класс впорхнула стайка нарядных, весело щебечущих девочек с цветами и воздушными шариками. «Поздравляем вас!» — закричали они учительнице, ожидая, что та улыбнется в ответ. Но Ольга Игнатьевна нахмурилась, недовольно поджала губы и угрожающе пообещала: «Сейчас поговорим!».

Шел Великий пост. В этот день святая Церковь отмечала память Пророка и Крестителя Иоанна, в чьей судьбе женщины сыграли роковую роль. По их вине его голову отделили от тела, и лежит она теперь перед всеми с мертвенной бледностью на лице и трагическим изломом бровей. Ольга Игнатьевна решила, что выбрала хороший сюжет для урока в Международный женский день. Ведь восьмого марта люди легкомысленно развлекаются, а время поста нужно проводить в покаянной тоске. Ольга Игнатьевна стала рассказывать детям о дне рождения царя Ирода, и по мере того, как она говорила, атмосфера в классе делалась печальней и строже.

Ольга Игнатьевна много лет преподавала биологию. Но захотелось чего-то эдакого. Учить биологии — это слишком банально, приятней сознавать, что исполняешь священную миссию, несешь миру свет веры. Ольга Игнатьевна ощутила призвание свыше — приводить к Богу юные души. Это делало ее особенной, не такой, как прочие учителя. Они все погрязли в земной суете, перегружены уроками, постоянно заполняют какие-то бумаги, стараются своевременно вносить оценки в электронные журналы и дневники. А Ольгу Игнатьевну волновало вечное спасение. Она и к урокам почти не готовилась, говорила по вдохновению, надеясь на Божью помощь. Разве Дух Святой не наставит на всякую истину того, кто открывает детям врата Небесного Царствия?

Врата-то она открывала, только дети шли туда неохотно. Ольга Игнатьевна подталкивала их, а они упирались, смотрели на нее, как овцы, бессмысленными глазами, разве что не блеяли. И неудивительно, ведь они

рождаются сейчас уже развращенными, не то что в былые времена. На дореволюционных фотографиях у гимназистов — такие чистые лица! А современная молодежь — распущенная и отупевшая, она хочет служить не Богу, а собственным страстям. Ольга Игнатьевна выбивалась из сил, чтобы показать ученикам красоту православия, ставила перед ними икону Страшного суда и описывала адские муки, диктовала мытарства блаженной Феодоры. Все было напрасно! В детях не пробуждалась любовь ко Христу!

Ольга Игнатьевна рассказывала на уроках о чудесах православия и прозорливых старцах, называя тех ласково «старчики». Она говорила о признаках конца света, заставляла конспектировать «Слово о смерти» Игнатия Брянчанинова. В минуты откровения Ольга Игнатьевна делилась с классом личным духовным опытом. Раньше она была наивной и легко могла попасть в сети какого-нибудь лжеучения, ибо дьявол, яко лев рыкающий, ходит, ища кого поглотить. А теперь она чует ереси за версту и бесстрашно их обличает. Ольга Игнатьевна постоянно что-то критиковала и находила уклонения от истины даже во взглядах некоторых православных батюшек. Она заходила на сайты церковных оппозиционеров и оставляла там гневные комментарии. Ольга Игнатьевна очень любила Родину, считала, что все зло идет в Россию с Запада, и, как могла, боролась с ним. Вот в Финляндии, например, есть ювенальная юстиция, и в одной русской семье там государство забрало детей. Узнав об этом, Ольга Игнатьевна в знак протеста перестала покупать молочные продукты финской фирмы «Valio», чем нанесла непоправимый урон экономике безбожной Европы.

Ольга Игнатьевна четко по святым отцам излагала собственную версию христианства. Она знала ответы на все вопросы. Почему старики в нашей стране страдают из-за маленьких пенсий? Да потому что не веруют во Христа! Вон святые вообще ничего не имели и были счастливы. Почему в Москве случился ураган и унес человеческие жизни? Католики привезли в храм Христа Спасителя мощи, и все часами стояли для поклонения. А зачем нам чужие еретические мощи, когда у нас есть свои? Общение с католиками — грех, вот и покрал Бог столицу.

Ольга Игнатьевна старалась открывать людям глаза на правду. В этом она видела еще одну цель. Надо выводить народ из плена заблуждений, как Моисей вывел евреев из египетского рабства. Поэтому Ольга Игнатьевна любила вмешиваться в чужие дела и давать советы. Ее соседка из квартиры напротив была беременна ребенком с синдромом Дауна. Муж требовал

сделать аборт, грозил уйти из семьи, а женщина не соглашалась. Ольга Игнатьевна не могла оставить ее без утешения, часто приходила к ней и говорила, что мужа Бог обязательно накажет, а в том, что дети болеют, нет ничего удивительного — ведь наши предки расстреляли царскую семью и разрушили много храмов, а грехи людей наказываются до седьмого колена. Ольга Игнатьевна принесла соседке святую воду из Иордана, земельку с могилы преподобного и обнадежила, что прогнозы врачей часто не исполняются, главное — уповать на Бога, а если врачи все-таки окажутся правы, значит, мы плохо молились.

В школе на уроках Ольгу Игнатьевну никто не слушал. Дети сидели, уткнувшись в мобильные телефоны, или тихонько болтали, занимаясь чем-то своим. Ольга Игнатьевна огорчалась, однако продолжала говорить, считая, что таким образом снимает с себя ответственность на Страшном суде. Никто ее не упрекнет за то, что она могла возвестить людям слово Божье, но не сделала этого!

Сталкиваясь с безразличием, Ольга Игнатьевна чувствовала, что изнемогает, у нее наступает эмоциональное выгорание вместе с кризисом среднего возраста, но она и дальше несла свой нелегкий крест. Ведь и к апостольской проповеди люди тоже сначала были равнодушны. А Христа вообще распяли! Дети томились на ее уроках. А Ольга Игнатьевна считала, что это от благодати Божьей, которая витает в классе, когда она говорит о священном. Для грешников непереносимо присутствие святыни. Кого-то благодать вгоняет в сон, кого-то, самых злостных, — ломает и корёжит. Поэтому некоторые дети такие беспокойные, вертятся и болтают, часто просят выйти. Они одержимы бесами, и внутри их жжет огнем неугасимым. На днях Ольга Игнатьевна с таким увлечением излагала им план Даллеса по моральному разложению русского народа, и хоть бы что! Сидят, будто их это не касается!

По версии Ольги Игнатьевны, христианство состояло из запретов и предписаний. Одно было категорически запрещено, другое — строго обязательно. Запрещалось то, чем Ольга Игнатьевна сама грешила в молодости, а теперь не могла — ушли года, да и настроение было уже не то. Она осуждала нескромную одежду, косметику, светские компании, застолья с алкоголем. Вместо этого надо было молиться, поститься и вносить пожертвования на радиостанцию «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.

Ольга Игнатьевна была уверена, что посвятила Богу всю свою жизнь. Это давало ей право смело о Нем говорить. Когда кто-нибудь оказывался в нравственно запутанной ситуации, она сходу объясняла, как правильно поступить. Ольга Игнатьевна легко разрубала любой «гордиев узел» и выносила вердикт. Ведь очевидно, что человек всегда во всем сам виноват, и все его проблемы — от гордости. Она постоянно оценивала окружающих с точки зрения церковного благочестия, прекрасно знала все библейские заповеди и при случае могла бы подсказать их Самому Богу, если Он вдруг что-то запамätует, или стать у Него присяжным заседателем на Страшном суде.

Ольга Игнатьевна всюду в мире видела происки бесов. А иначе как объяснить то, что городские власти хотят снести ее пятиэтажку? У Ольги Игнатьевны там прожило несколько поколений семьи. Недавно она сделала в квартире ремонт, деньги на который годами откладывала со скудной учительской зарплаты. Именно бесы разоряют уютные гнездышки и сгоняют людей с насиженных мест, из дома в лесопарковой зоне переселяют в дом с окнами на шоссе, чтобы жители дышали выхлопными газами и побыстрее умерли, в отчаянии проклиная Бога за то, что Он не может навести порядок в отдельно взятой стране.

Мысли о дьяволе сближали Ольгу Игнатьевну с одним мальчиком из класса, Мишей, который имел к дьяволу трепетное отношение. Он любил рисовать чертиков на обложках тетрадей. Миша был сатанистом, одевался в черное и носил на пальце перстень с черепом. Разве могут быть похожи православная учительница и подрастающий сатанист? Какое общение у света со тьмой, какое согласие у Христа и Велиара? Но противоположности сходятся! Если сильно забирать вправо, то окажешься слева, земля-то круглая.

Однажды Мише было скучно, и он решил выбрать себе религию. Сначала он хотел верить во Христа, но тогда пришлось бы подставлять вторую щеку своему врагу, хулигану по кличке Палтус, который держал в страхе всех пацанов. Поэтому Миша повесил на шею железную пентаграмму и стал служить дьяволу. Он нацарапал иголкой у себя на руке число зверя и задумался, какими делами прославить своего властелина. Он распорол бритвой сиденья в метро, и, выходя на улицу, врезал ногой по коробке с милостыней возле попрошайки. Но это были мелочи! Душа жаждала подвига! Миша мечтал, как молодой волчонок, напиться крови. Но где ее

взять? Можно толкнуть с платформы под поезд какую-нибудь старушку. Все равно она уже отжила свой век, а так от нее будет хоть какой-то прок — она пойдет в жертву князю тьмы. Но бескровные убийства не впечатляют, не будоражат нервы, наоборот, вызывают в сердце непонятные толчки сожаления, как было однажды, когда Миша в овраге забросал камнями бродячую собаку. Да и рисковать неохота, вдруг полиция засечет, везде — камеры, а садиться в тюрьму он не хотел — там отберут гаджеты.

Для крупных дел — например, отловить и забить до смерти мальчика-алтарника, принудив его отречься от Христа, — нужна подходящая компания. Миша искал сообщников на кладбищах, где собираются сатанисты, часто ходил там по ночам, заодно сводядохлыми кошками свои бородавки, но никого не нашел. Повторить подвиг брата по вере, зарезавшего на Пасху в Оптиной пустыне трех монахов, пока не получалось. Но Миша понимал: сдаваться нельзя! Нужно убивать людей, расчленять их трупы и, как доктор Франкенштейн, экспериментировать с останками, создать из них чудовище, оживить магическими заклинаниями и натравить на ненавистного Палтуса.

Миша прочитал в интернете, что сатанисты выходят на связь со зверем, принимая галлюциногены во время оргий. Устроить оргию было не с кем, поэтому Миша, желая впасть в транс, нанюхался на кухне клея, но потерял сознание. Приехала скорая, и Мишу откачали. После этого он нашел в своей религии логическое противоречие: как он, желающий быть воином Армагеддона, может вести здоровый образ жизни, необходимый для роста мускулатуры, и одновременно во время оргий заниматься саморазрушением?

Но Мишины убеждения активно подпитывались извне. Он смотрел новости — государство успешно боролось со своим народом, Дума принимала закон за законом, Патриарх встречался с Президентом, и кафельный дым, уходя в небо, смешивался с дымом из труб крематория. Везде царил беспросветный мрак, и людям было так плохо, что даже демоны щадили их и не причиняли им больше вреда.

В рамках государственной программы по духовно-нравственному возрождению Отечества в Мишиной школе ввели курс Основ православной культуры. Сначала его преподавала симпатичная девушка, совсем юная, только после института. Она заметно волновалась, ее голос звенел от напряжения, и любая реплика из класса вызывала у нее приступ робости.

Мише нравилось вгонять ее в краску. Однажды он спросил про праздник Обрезания Господня: что же именно обрезали у Христа?

На уроках девушка толковала Нагорную проповедь и Заповеди блаженств, а Миша, когда она поворачивалась спиной к классу, представлял, как бы здорово он трахнул ее, положив животом на стол, — вот было бы блаженство! Нужно проследить, какой дорогой она возвращается домой. Но Миша не успел это сделать, потому что вместо девушки уроки стала вести унылая женщина средних лет в длинной юбке, с гладко уложенными на прямой пробор волосами, покрытыми беленьким платочком. Она показывала иконы и рассказывала про двенадцатые праздники. Это было скучно. Миша забавлялся тем, что задавал ей каверзные вопросы: почему у Патриарха на руке — часы Rolex за несколько тысяч долларов, почему попы ездят на «Мерседесах», а не раздадут все деньги бедным, почему Церковь захватила себе Исаакиевский собор в Петербурге? Учительница делала испуганные глаза и с жалостью смотрела на Мишу.

Однажды в выходные класс повезли на экскурсию в монастырь в сопровождении Ольги Игнатьевны. Миша тоже поехал — врага надо знать в лицо. Сначала их долго держали на морозе, пока молодой послушник перечислял местные достопримечательности, попутно излагая роль Церкви в истории России, словно повторяя материал к семинарскому экзамену. Потом их повели в храм. Пока все возились с записками и свечами, Миша расположился на скамейке возле стены. Вдруг у него над головой раздался резкий сердитый голос: «А ну, вон пошел отсюда! На монашеское место сел! Ты что, не знаешь, что мужчины стоят справа?». Миша поднял глаза — на него злобно смотрела старушка в черном одеянии. Ее нижняя челюсть по-бульдोजьи выдвигалась вперед, и наружу выступали два желтоватых клыка. На верхней губе виднелись редкие седые волосики. Миша хотел послать ее, но потом понял, что она не отстанет, так и будет нависать над ним, а у нее изо рта сильно пахло чесноком. Он поднялся, она тотчас плюхнулась на сидение, уставилась на иконостас и начала быстро-быстро перебирать длинные шерстяные четки.

Ночевать их устроили в старом гараже сельхозтехники, переделанном в паломническую гостиницу, всех вместе в одном помещении. Было зябко, и на жестких деревянных нарах спали не раздеваясь. Кто-то пустил слух, что в помещении бегают мышь. Девочки стали шумно выражать свои опасения, а

мальчики с восторгом ухватились за это предположение и наперебой выдвигали версии об ее местонахождении. Ольга Игнатьевна утомилась от гвалта и вышла на улицу.

Сразу за монастырем расстиралось покрытое снегом поле, залитое лунным светом. Над головой в темном бархате неба мерцали звезды. Стояла такая тишина, что Ольге Игнатьевне сделалось не по себе. Она привыкла в жизни много говорить, авторитетно, со знанием дела, тоном, не терпящим возражений. А тут, в тишине, кто-то безмолвно кричал ей об ее одиночестве. Были в этом смутно знакомом голосе и печаль, и упрек. Ольга Игнатьевна вдруг почувствовала себя маленькой и слабой, вспомнила, как хотела спасти чужие души, и устыдилась. То, что она с апломбом вещала на уроках, казалось нелепым здесь, во тьме, среди полудикой природы. Может ли она спасти хотя бы себя саму? Отойдет подальше от жилья, и мороз-убийца торжествующе заключит ее в свои объятия. А не сделать ли так? Ведь больше никому ее обнимать, и собственная жизнь давно вызывает у нее удушье.

Когда-то сыну Ольги Игнатьевны предложили перспективную работу за границей. Он очень хотел поехать, но Ольга Игнатьевна его непустила. Она заявила, что это не патриотично, хотя на самом деле просто не желала оставаться одна. И теперь сын все время с ней, сидит на ее шее, нигде не работает, днем спит, по ночам играет за компьютером, на улицу почти никогда не выходит. Ей советовали перестать его кормить, повесить замок на холодильник, но она не умеет быть с ним строгой, с тех самых пор, когда в детстве он тяжело болел, и никто не знал, выживет он или нет. Ольга Игнатьевна вспомнила об этом, заплакала и пошла напрямик через поле, стараясь замерзнуть как можно сильнее, чтобы унять душевную боль.

Миша долго не мог уснуть. Ему было любопытно, куда делась Ольга Игнатьевна. Может, она вышла на крыльцо покурить, и ее можно поймать с поличным. Будет забавно, как она попытается спрятать от него сигарету. А если, пока все спят, он утащит и закопает в сугроб их ботинки и сапоги? Тогда никто не пойдет утром на эту самую литургию. Тут сердце Миши охватил страх. А если Ольга Игнатьевна в сговоре с монахами — она привозит им детей, их сажают под замок, а потом продают на органы? Иначе откуда в храме столько золота? Миша дернул входную дверь, она была заперта. Значит, он прав, и дело нечисто. Миша нажал на раму окна, она легко поддавалась, и он выпрыгнул в снег. Ногу пронзило болью. Миша подождал, пока та утихнет, огляделся и направился через поле, где до него кто-то

проложил следы. Он хотел выйти на трассу и поймать попутку до города. Миша понимал глупость своих фантазий, но лучше на всякий случай уехать, тем более завтра его будут искать и волноваться, а это здорово, когда люди страдают.

Поле на самом деле оказалось замерзшей рекой. Вскоре Миша увидел чернеющую на снегу одинокую фигурку и признал в ней Ольгу Игнатьевну. Во льду зияли несколько отверстий. Миша вспомнил: в школе говорили, что на какой-то православный праздник окунаются в проруби. Ему пришла в голову блестящая идея.

— Вы почему не спите? — спросил он у Ольги Игнатьевны, подходя поближе. Ночная тьма скрывала его дьявольскую улыбку.

— Прогуляться решила, сейчас пойду назад, — сказала Ольга Игнатьевна. Она была какая-то поникшая и грустная, Миша даже засомневался, стоит ли дальше вести разговор.

— Вы знаете, что я сатанист? — продолжал допрашивать ее Миша.

— Что-то такое я предполагала, — рассеянно отозвалась Ольга Игнатьевна.

— А сказать вам почему? — напирал на нее Миша. — Потому что христиане — слабаки. Их все мучают и убивают. Зло всегда побеждает. Хотите, чтобы я уверовал во Христа? Сделайте чего-нибудь великое! Видите две проруби? Окунитесь в одну и выплывите из другой! Тогда я поверю вашей болтовне на уроках.

Ольга Игнатьевна внимательно посмотрела на него.

— И тогда уверуешь во Христа? Обещаешь? — взволнованно уточнила она.

— Честное слово! Прямо завтра пойду креститься! — сказал Миша с самой убедительной интонацией, на которую был способен.

Ольга Игнатьевна стала медленно раздеваться. Миша с интересом смотрел на показавшуюся из-под ее шерстяных рейтуз шелковую кружевную комбинацию. Ольга Игнатьевна встала босиком на снег, попробовала ногой воду и содрогнулась.

— Лезьте, лезьте! — скомандовал Миша. — Посмотрим, поможет ли вам ваш Бог. Только чтобы до конца доплыли, а если вернетесь — не считается.

Ольга Игнатьевна перекрестилась, бросила взгляд на темнеющий вдали монастырь и шагнула в воду. Она сделала несколько гребков вниз и скрылась

из Мишиных глаз. На поверхности воды остались только кусочки льда. Миша подбежал к соседней проруби и стал напряженно вглядываться в неподвижную черную воду. Прошло несколько секунд. Ольги Игнатьевны не было. Миша лег, пошевелил рукой в воде, потом вскочил, заметался, лихорадочно бросился расчищать снег, чтобы разглядеть сквозь лед хоть что-нибудь, начал бить по нему ботинком, но тот не поддавался. Миша издал вопль ужаса, с ненавистью сорвал с себя железную пентаграмму, скинул одежду, ногами вниз ушел в смертоносную глубину, и там в безумном порыве, шаря вокруг, ухватил вдруг живое, дернул вверх и вспомнил, что такое же движение было у Христа на пасхальной иконе, которую он видел этим вечером в храме, когда Тот вытягивал из ада Адама и Еву.

ИРИНА ОРЛОВА

Неудавшийся дебют

Когда только начался Великий пост, и солнце стало по-весеннему припекать, так что уже можно было ходить без шарфа и шапки, вдыхая пьянящий аромат пробуждающейся природы, Олег впервые понял свою ошибку. Тяжкая тоска по прошлому охватила все его существо. Он вспоминал, как пришел сюда, в этот монастырь, как долгое время робел перед братией, казался себе таким маленьким и ушастым в обществе здоровенных бородатых мужиков. Хотя встретили его хорошо, куда еще лучше — игумен даже расцеловал, однако Олег так и не смог избавиться от напряженной скованности и неуверенности в себе. Выполняя то или иное послушание, он всегда внимательно следил за собой, чтобы ненароком не вызвать чьего-либо недовольства, выговора или упрека, с буквальной точностью исполняя приказанное. А уж трудиться-то он любил: с ожесточением мыл котлы в трапезной, тер полы, рубил дрова, чистил снег, не гнушался и самой грязной работы.

Это было наслаждение — умучившись до седьмого пота, так что переставали слушаться онемевшие конечности, с аппетитом поглощать какие-нибудь пустые щи из мерзлой картошки с плохо пропеченным хлебом и ощущать себя самым счастливым человеком на свете. Засыпая ненадолго на своем жестком тюфячке, с первыми ударами колокола спешить в церковь, поеживаясь от утреннего морозца, и там, благословившись и надев так нравившийся ему блестящий стихарь, возгласить звонким юношеским

голосом, взлетающим под купол храма, первые строки псалма. Это казалось пределом мечтаний!

Ему нравились отцы, нравилось, как они в отсутствие игумена слегка расслаблялись в алтаре, рассаживаясь на кафизмах по стульчикам и тихо беседуя. От утомления кто-то вытягивал ноги, кто-то становился на колени, опираясь телом о табурет. Олегу представлялись это лежбищем тюленей. Он прислушивался к их разговорам. Не всегда там звучали одни духовные темы. Иногда проскакивало что-то о марках вин или автомобилей. «Чем больше на бутылке кагора куполов, тем отвратительней ее содержимое». Такие речи смешили и трогали. Вспоминались слова из катехизиса о соединении природ во Христе — «неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно». Хорошо, когда люди, соединяясь со Христом, приобщаясь Божеству, не теряют в себе человеческое.

Олега тяготила благочестивая искусственность, стилизация под шаблон, пусть достойный и праведный, но не усвоенный лично, когда люди, как механические куклы, монотонными голосами транслируют цитаты из святых отцов. Борьба со страстями, отказ от своей воли иногда приводит не только к освобождению от грехов, но и к угасанию личных эмоций. Такие верующие превращаются в автоматы, произносят не свои слова, исповедуют не свои убеждения, да и саму жизнь живут не свою, а фальшивую, лживо-патериковую. Нередко Олег вспоминал прочитанный где-то афоризм: «Мы хотим казаться правильными, вместо того чтобы быть искренними». И он радовался, что у их монастырских священников такого нет, они были живыми.

Прошло два года. Олег стал постепенно свыкаться со своим положением. Он принялся уже смелее смотреть людям в глаза и даже отвечать на дружеские толчки, получаемые от наиболее бойких из братии, не боясь, как раньше, что каждый встречный разгадает его заветную тайну, из-за которой, не скрой он ее при поступлении, не видать бы ему монастыря, как собственных ушей. Он же был парень упрямый, своевольный, и если взбрело ему в голову подражать древним подвижникам, послужить Господу именно в иноческом чине, то и сами силы ада не могли бы воспрепятствовать его намерению. Совесть, правда, слабо попискивала, не желая, чтобы с ней шли на компромиссы, утверждая, что малейшая примесь лжи способна осквернить самое благородное дело, однако упоение от достигнутой цели и новые

впечатления отодвигали эти внушения на периферию сознания, как когда-то строгие родительские упреки.

Олег видел, что игумен им доволен, и уже шли разговоры, чтобы на Преподобного одеть Олега в подрясник, а дальше... дальше мысль по-детски неслась с неудержимой скоростью к таким высотам, от которых захватывало дух. Вот его постригают, рукополагают во иеродиакона. Затем — в иеромонаха. Будет он какой-нибудь отец Пимен... нет, лучше Пафнутий... Вот он стоит на амвоне с крестом и смиренно произносит проповедь. Народ в потрясении внимает «глаголам вечной жизни». Люди приходят к нему за благословением и советом. А вот он перед разъяренной толпой смело исповедует Христа, принимая мученический венец. А вот он, тихий, изнемогший от поста отшельник, возносит в глуши лесной свою молитву за мир...

— Олег! Олежка! Ты раствор с огня снял? Ты что, оглох? — пожилой инок-иконописец тряс за плечо замечтавшегося послушника. Тот нехотя сдвинул с плиты котел с раствором — им потом будут левкасить доски — и вышел на крыльцо.

Был один из тех одуряюще скучных вечеров, когда кажется, что время совсем прекратило свой ход. Черные ветви деревьев стояли не шелохнувшись, словно замерев в безмолвном молитвенном порыве, в жажде побыстрее украсить щегольской зеленой листвой. Серое небо нависало над головой. Темнели проталины, да тощий серый котяра пробирался, крадучись, на промысел, чая разнообразить свой постный рацион какой-нибудь зазевавшейся живностью, а то и попросту своровать где-нибудь кусок. Однако возившийся неподалеку десятилетний монастырский воспитанник Максимка помешал его намерению: схватив упирающегося кота, принялся запихивать его в какой-то ящик.

— Чего это у тебя? — спросил Олег.

Максимка поднял покрасневшее лицо:

— Это для кота газовая камера.

— Газовая камера... Болтаешься тут без дела, лучше бы уроками занимался.

Постепенно местная жизнь начала приедаться. Несмотря на то, что у Олега с детства лежало сердце к обществу иерархичному, где младшие подчиняются старшим, а старшие заботятся о младших, где все бытие основано на

совместном преодолении трудностей и терпении лишений. Но стоило представить, что сегодня, завтра, всегда будет одно и то же монастырское каре, внутри которого он уже изучил каждый камушек; одна и та же траектория движения: келлия — храм — трапезная — послушания; одни и те же лица, разговоры, — и сразу вся восторженность таяла, словно кафельный дым. Он чувствовал, что в монастыре относятся к людям как к шахматным фигуркам. Ежедневно их все надо расположить на доске в определенной позиции, чтобы каждая оказалась максимально функциональна, для общего блага, разумеется.

Человеку требуется зона его личной ответственности, где он сам принимает решения и проявляет инициативу. В монастыре возможностей для этого нет, все по послушанию, прикажут — и исполняй. Порой ощущаешь себя хорошо отлаженной шестеренкой какого-то гигантского механизма. Но с другой стороны, в миру много ли свободных усилий человека приводят к полезному результату? Не тратит ли он часто время впустую, не час, не два, а целые дни? Не создала ли цивилизация массу бессмысленных профессий? А у монахов ежедневно выходит из-под рук что-то нужное, пусть незначительное, но конкретное: выложенная плиткой стена, расчищенная дорожка, посаженные цветы, отремонтированная ограда.

Живя дома, Олег в часы досуга читал книги святых отцов. Их мир восхищал, душа просила подвигов, постов и молитв. А став послушником, он, незаметно для себя, переключился на романы из поселковой библиотеки. Сильно уставая на работе, он не имел сил вникать в сложные тексты, содрогался от строгости жизни подвижников, потеряв надежду достигнуть молитвенных высот исихастов. Раньше он жил лишь мечтами о Царствии Божьем, о «земле обетованной». Его интересовали все подробности бытия этой *terra incognita*, хотелось познать ее законы. А теперь он попал в монастырь, в преддверие Царства, и уже не было необходимости листать путеводитель, изучать климат и географию этой дивной страны, потому что она сама расстилалась перед глазами. Оставалось только покориться ее очарованию. И от «духа века сего» не надо уже защищаться, потому что от него спасают высокие каменные стены и монастырский режим. Если бы знал Олег, что дух этот каждый несет в своем сердце, и те уныние и скука, которые он постепенно стал ощущать, есть признак того, что древний змий поднимает в его душе голову, готовясь к смертельному поединку. И главный подвиг Олега — еще впереди.

«Странное все-таки существо — человек, — думал послушник, — живя в миру, жалуется на шум и суету, мешающие молитве, вождедея пристать скорее к какой-нибудь тихой пристани, чтобы там плакать о грехах, а как только посылает Господь ему нечто подобное — уже на второй день, взыв, кидается опрометью обратно в привычное житейское море, к своим любимым погремушкам. А я... Пойти на такие жертвы, чтобы попасть сюда, — и вот... Разочарование? Ни за что! Просто утомился я. Пойти нешто поспать? Утро вечера мудренее».

И он, подкинув носком порыжелого сапога ледышку, зашагал в корпус. Отец Герасим, иконописец, наблюдал за ним из окна мастерской.

— Вишь, как вскинулся... Видать, не мирен брат. Грызет его что-то. Да и странный какой-то. Говорит — лицо в сторону от тебя воротит, краснеет все время. Сам тонкий такой, как девушка. Лет уже немало, а борода не пробивается... Ох, что же ты, отец? — спохватившийся инок ударил себя по лбу. — Что же ты, друже? Давай-ка своим грехам внимай. А ближних-то судить-рядить легко...

Вздыхая, священник дрожащей старческой рукой затеплил лампаду перед потемневшим от времени образом Спасителя, достал с полки тяжелый том, раскрыл на нужной странице, нацепил очки и, перекрестясь, погрузился в чтение. Отец Герасим заметно отличался от остальных монахов, редко участвовал в разговорах, был суров и углублен в себя. Болея сердцем о состоянии современных монастырей, он изо всех сил стремился, приобщившись к духовному сокровищу святоотеческого опыта, воссоздать хотя бы малую толику утраченного, наладить внутреннюю жизнь своих пасомых, твердо управлять вверившимися ему душами в их шествии от земли на Небо, не уклоняясь ни в излишнюю строгость, ни в потакание человеческим страстям. С глубокой скорбью он смотрел на то, как обитель все больше и больше превращалась в рабочую артель, где братия были заняты хозяйством и прибылью, церковные же службы воспринимались как досадная обязанность, отрывающая от дел. Рубка капусты, заготовка дров, реализация свиных туш многих интересовали гораздо больше, чем Иисусова молитва, внимание, трезвение, откровение помыслов и приобретение сокрушенного сердца. «Огонька нет в людях, — думал отец Герасим, — рвения нет Богу послужить. Везде ищут себя и своего. В провинции безработица, неустройство, вот и бегут сюда, где худо-бедно, но кормят,

одежду дают, есть где потрудиться, силы приложить, словом, без особого напряжения можно вести вполне порядочную жизнь».

Отец Герасим помнил, как возрождалась церковная жизнь в стране. Многие были преисполнены надежды, что с воскресением храмов воскреснет и Россия. Духовного опыта не хватало, все двигались вслепую путем проб и ошибок, но за счет пламенной веры умели ходить по воде. Хотя впадали и в заблуждения. Христианство таит в себе силу атомного ядра, люди, не умея с ним обращаться, порой взрывают собственные судьбы. Но потом пыл стал утихать. Христиане приобрели трезвость и прагматизм, научились нести светильник веры осторожно, не рискуя спалить свои дома. Тот горит уже ровным пламенем, не коптит и не тлеет. Но огонь слишком маленький! Он не может согреть и не прогоняет тьму. Церковь перестала вызывать любопытство, к ней привыкли, на проходящих по улице священников уже не оглядываются. После знакомства с верой она стала «своей», перестала удивлять и восхищать, исчезла притягательная тайна запертой двери.

Только немногие из братии, по-настоящему интересующиеся предметами духовными, стремящиеся к подлинному иночеству, являлись для отца Герасима утешением, предметом его особенной заботы. Для них он сейчас, отнимая у себя драгоценные минуты отдыха, вчитывался в слова многовековой давности. И еще долго в ту ночь он сидел над книгой, забыв о времени, то удивленно покачивая головой, то сосредоточенно хмурясь и нервно покусывая бородку, то, пораженный чем-нибудь, поднимал голову и в задумчивости глядел в подернутое синей дымкой окно, силясь разглядеть контуры таявших во тьме предметов. И так бдел он до утренней зари, когда звук благовеста напомнил о новом трудовом дне, со всеми его тревогами и заботами, добрым и беспощадным, скорбным и удачным. И вновь мир стал предельно прост, а человек, забыв свою беспомощность перед таинственной, пугающей ночью, стал господином всего и начал деловито сновать, опутывая себя насущными попечениями... Отец Герасим взглянул на часы, накинул мантию и поспешил в церковь: он был служащий иеромонах.

Вечером читали Великий канон. «Откуда начну плакаться окаяннаго жития моего деяний? — не спешно и с чувством выговаривал игумен великопостные слова. — Кое положу начало, Христе, нынешнему рыданию?». Его строгие интонации и проникновенный голос заставляли с особым усердием внимать услышанному, так что библейские образы казались не отвлеченными историческими реалиями, но чем-то родным и

близким, происходящим здесь и сейчас. Ведь не Исав вовсе продал за чечевичную похлебку Исааку свое первородство, а я, грешный, прельстившись блестящими безделушками, которыми дразнили меня бесы, променял свое богосыновнее достоинство на ряд сомнительных наслаждений. И не Петр, проявив малодушие, во дворе первосвященника отрекся от Христа: «Не ведаю сего человека», — а я, я при малейшем испытании начинаю кукситься и извиваться, отрицаясь Христова крестоношения... «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», — будто из одной груди исходил вздох многосотенной толпы.

Чувствовалось всеобщее молитвенное воодушевление. Олег стоял позади игумена, соображая, как бы не пропустить момент, когда потребуются услуги чтеца, изучал узор на облачении: «Какая кропотливая работа! С ума сойти — от руки так вышивать! Красиво!». Все опустили на колени. «Душе моя, восстани, что спиши? Конец бо приближается...» Вдруг Олег подумал, что когда-нибудь умрет. Встретится с Богом: «Какой Он, Христос? Кроткий, смиренный... Как я оправдаюсь перед Ним?».

До сих пор вера и церковь привлекали Олега лишь тем, что здесь находила применение его кипучая молодая энергия — столько восстанавливающихся храмов, нуждающихся в рабочих руках, столько увлекательных занятий: пение, чтение, колокольный звон и иконопись, и такое удивительное православное миропонимание. Он на практике понял, что оно почти наверняка обеспечивает победу в любых философских спорах, которые так часто ведут между собой неоперившиеся юнцы, покуда жизнь не обломала им романтические крылышки. В той радостной кутерьме, которую представляло собой его существование, не было места Христу, несмотря на то, что Олег часто исповедовался и причащался, запоем читал богословскую литературу и в монастыре у начальства был на хорошем счету. И так отчетливо он представил себе это сейчас, в этот великопостный вечер, на минуточку попытавшись быть честным с самим собой, что заплакал, уткнувшись разгоряченным лицом в холодные плиты пола. Что-то ударило его в грудь, проникло до глубины души, «во святая святых», «за внутреннюю завесу». И та убийственная ложь, на которую он пошел, чтобы достичь желаемого монашеского жития, предстала пред ним во всем своем дьявольском безобразии, вызвав твердую решимость открыться. Изнемогший, поднялся он с колен и стал внимать службе.

После ужина Олег неожиданно почувствовал себя плохо. Отпросившись с послушания, с трудом добрал до кельи. Закутался потеплее: печку уже не топили, экономя дрова. Вспомнил, как в детстве, когда он заболел, мама покупала на рынке свежие фрукты и выдавливала сок. Вспомнил — и чуть ли не физически ощутил аромат апельсиновой дольки, если подержать ее во рту и, наконец, сжать зубами. «Зачем я ушел из дома?»

Скрипнула дверь. На пороге показалась грузная фигура отца Герасима.

— Ну, болящий! Жив? У, брат, что-то ты совсем плох. На-ка вот, выпей. Это аспирин. Олег пристально-пристально посмотрел на священника.

— Батюшка... Я имею нечто сказать вам.

Деревенеющей рукой полез в изголовье и, чувствуя, как через мгновение мир померкнет в его очах и разразится страшная, непоправимая катастрофа, достал что-то и протянул пришедшему.

— Вот мой настоящий паспорт.

Отец Герасим не спеша надел очки и встал к свету.

— Ну-ка, посмотрим, что у нас там такое? Григоренко Ольга Петровна...

И переменился в лице, мгновенно все поняв. Спросил глухо:

— Зачем тебе надо было это делать?

Как объяснить другому свою боль? Другому, который, обладая мудростью и саном, обязательно найдет в ответ на твой бессвязный лепет тысячу веских аргументов и припрет тебя к стенке неопровержимым доказательством твоей неправоты?

— Не знаю, как вам объяснить... С таким сердечным горением я смотрел на иноков... Так манили меня к себе их отношения между собой, грубый быт, твердая вера, бедность, граничащая с нищетой, и вместе с тем светящиеся радостью взоры. Какими красивыми казались строгие подрясники, клобуки, мантии, развевающиеся по ветру... Я так хотел попасть в их число, стать одним из них... Для этого я и создан. Ничто в мире не привлекало меня, казалось пустым и бессмысленным — деньги, карьера, наука... Какое-то пошлое мещанское счастье, суета и томление духа... А здесь тишина, природа, братия... Мне тоже хотелось служить Богу, как они...

— Не Богу тебе хотелось служить. Ты прельщаешься внешностью, формой, видом — как раз тем, что имеет значение наименьшее. Я давно наблюдаю за

тобой. С упрямством и самонадеянностью ты ищешь монашества, смысла которого не понимаешь. Мир приелся тебе, там все дозволено, все испробовано, он наскучил своей пестротой и безумными наслаждениями. И все житейские заботы ты наверняка считаешь презренными для твоей возвышенной утонченной натуры. Для нее лишь религия — достойное дело... Ведь именно так ты мыслишь? Я прав? Скажи, почему же не женский монастырь?

— Там все по-другому... Не мое это... Мелочно как-то.

— А ты не мелочно цепляешься к деталям? Ведь перед Богом все равно кем быть, женщиной или мужчиной. Ладно, совесть замучила тебя, вынудив признаться. Правильно. Считай, это было первое движение к тому, чтобы начать духовную жизнь. Нелегко было? Так вот знай, что каждый шаг на этом пути сопряжен с нечеловеческими усилиями по преодолению себя. Есть боль, есть понуждение — значит, идешь в верном направлении. В этом-то и монашество... А не то, что мантия по ветру развеивается... Монах — это воин, противник дьяволу, а ты, наоборот, пляшешь под его дудку, желая ходить вслед своих похотей. А в Евангелии что сказано? Отвергнись себя... Своего «хочется» или «не хочется»... Тебе нужен мой совет, что делать дальше?

Олег, понуро уставившись в пол и сжав руки, молчал, сидя на кровати.

— Возвращайся домой. Живи так, как Господь сотворил. Предоставь Ему решать, что для тебя лучше. Трудись, ходи в церковь, молись и помни: данный крест бросать мы не вправе, с него нас могут только снять. Да и без него будет еще тяжелее...

— Батюшка, благословите остаться здесь...

— Нет, здесь существование твое бесплодно, лишь на соблазн другим.

Олег, закрыв лицо, замер.

— Я не могу без монастыря... Я буду очень тосковать по братии, я здесь так привык...

Отец Герасим порывисто прижал его голову к своей груди.

— Полноте, дружок... Погрешил и будет. Иди с Богом в мир. Все будет хорошо у тебя... А игумену я объясню.

Ах, уж эти старцы, зрящие образ Божий в человеке! Они глядят на мир из пределов вечности и видят его таким, каким он должен быть. Если кто не

вмещается в этот идеал, можно подрезать ему руки или ноги, чтобы он целиком вошел в форму, заполнил ее собой, а боль от процесса будет вменена ему в мученичество. Впрочем, может, и правда, расцветет он в этой правильной форме, как знать! А боль забудется, когда в душе зародится новая жизнь.

На рассвете, когда вся тварь только-только начинает просыпаться, маленькая фигурка в дырявом ватнике, широко размахивая руками, то, меся сапогами снежную грязь, карабкалась на пригорки, то, рискуя свернуть себе шею, по-ребячьи съезжала с них, падала и вставала, не заботясь, видимо, о чистоте своего наряда. Перейдя вброд маленькую реку, миновав рощу и невзрачный пустынный хутор, где доживали свой век несколько старушек и вечно пьяный бывший шофер Бориска, в периоды похмельного синдрома грозивший монастырю кулаком и обещавший свести с кем-то какие-то счета, фигурка остановилась, бросив прощальный взгляд на виднеющуюся вдали обитель, размашисто перекрестилась и пошла вперед, в неизвестное — уже не оглядываясь...

ЛИНА СТАРОСТИНА

Подарочек

— Неужто 30 лет со свадьбы прошло?

— И где вы справлять собираетесь?

— Кольцо подарить хочет?

— Ну что, поздравляю!

Консерватория с отличием. Тонкая, светловолосая, неприметная, но скрипка в руках, и всё... глаз не отвести. Таскался за ней по концертам, ждал, томился, надеялся.

Светик его не замечала сперва, простоват. Посмеивалась. Его мать тогда поговаривала: «Чего девка нос дерет, счастья своего не понимает, не парень, а подарок».

Не зря, видать, кружил он — приняла и растаяла.

Всюду вместе за ручку, не разлей вода.

Сыграли свадьбу.

Сразу забеременела, и такой токсикоз. Белый свет с овчинку. Родила девочку.

Муж по первости бросился зарабатывать, каждая копейка на счету.

Только в дом — там то ребенок плачет, то Светочка. Потерпел, погулял, сломался.

Сколько же он куролесил, пил безбожно, клялся-божился, опять пил. Много лет не просыхал.

Жили в коммуналке, соседи алкоголики, уже детей двое. Все друг у друга на голове. Но Светик, тихий человек, все сдюжила. Ноты и мечты со скрипкой убрала подальше на полати.

Пошла училкой в музшколу, по частным урокам бегала. Вытирала за соседями, чтоб с детьми в ванну войти можно было.

Детям шила, кроила, мужа из запоев вытянула, пироги, журналы по вязанию.

Одним словом, всё, как у всех.

Тут подарок судьбы.

Ох, и благодарила святителя Спиридона!

Дали им, наконец, четырехкомнатную квартиру, а у них только-только третий родился.

Сами посудите, она одна многодетная среди училок в музыкальных школах оказалась, а то бы опять в конец очереди задвинули.

Только расползлись по огромной (после коммуналки то!) квартире, даже у Светы отдельная комната наметилась, скрипку только из футляра достала, настроила...

Тут ее тетка серьезно заболела. Слава Богу, жилье теперь есть, комнату тетке отдала, так и ходила за ней до смерти, в смысле, блаженной кончины.

Хлопот еще прибавилось. Кроме тети своих четверо, музыкалка, дом. В выходные — в церковь. Жаловалась мне, что иногда то проспит, то и вовсе пропустит, никакого благочестия.

Вот, Светик пораньше встанет, мужу — рубашку, брюки, детям — формы отутюжит, обед состряпает, в магазин.

Пора в музыкалку. Теперь на полставки — деньги позволяют, не оставлять же дело.

Только дети из школы — обед, уроки, стирка, с собакой погуляла и спи-отдыхай.

А муж что, потихоньку в бизнес подался.

Можно сказать, разбогател. Не то чтобы миллионер, но и окусываться перестали, поехать куда, или купить что — без проблем.

Даже землицы прикупили гектар 50, ну, если пришествие... Пережить можно, всё свое вырастить.

Муж, красавец мужик, на работу как на праздник: белая рубашечка свежая, стрелки на брюках отутюжены, ботиночки итальянские начищены, чуть седина на висках, даже тень от него — и та идеально ложится, без морщин. Тренируется часами. Между прочим, настоящий профи в охранном бизнесе. Машину водит — залюбуешься, плавно, с шиком. Верующий! Икон в три ряда. Только знаменный распев слушает.

Храму благотворительствует и разным нуждающимся. Не пьет и без пропуска — на все службы, молебны, стояния.

Пригласили его крестным к новорожденному. Мамочка молодая из неофиток, родила без мужа, так убивалась. Ей батюшка Светкиного мужа послал — направить, наставить и приготовить к Крещению младенца. Кого еще? Теперь Светочкин муж к крестничку ездит. Продукты, детское питание, погремушки. Пусть мамочка видит, крестный не оставит.

Жене и детям в помянник записал их имена, ну, и сам не ленится. Молится полным правилом, буковки не опустит.

Настоящая семья, вместе в горе и в радости.

И на дачу — тоже вместе.

Светик-семицветик всю дачу цветами засадила. А грядки так, две- три, только для зелени. Больно колодец далеко, воды не натаскаешься.

Отпуска у училок длинные, почти всё лето на свежем воздухе с детьми. Иногда на выходных муж приедет, шашлычок пожарит. Сидят, птичек слушают, отдыхают.

Не может он пропускать воскресную службу, да и крестника надо навещать, уже бегать начал.

Как-то скрипку Светочкину на дачу привез, она даже футляр не открыла — не до того.

Старших дочерей замуж выдали, квартиры им справили, внуки пошли.

И вдруг, на тебе — юбилей семейный.

Итог всей жизни. И праздник, конечно!

Тут муж-юбиляр Светику говорит:

— Слушай, дорогая, я хочу подарочек тебе сделать. Такой, чтоб ты его всегда носила и сердце радовалось. Кольцо с брильянтом роскошное, пусть смотрят и завидуют, какая ты счастливая!

Сказано — заметано.

— Вот это примерь, видишь, как камень играет!

— Покажите жене другое!

— Посмотри, опять не подходит?!

— Дама, — это продавец вмешался, — вы сами-то что хотите?

— Подберите, пожалуйста, так, чтобы удобно посуду мыть и селедку разделывать.

Когда никого нет дома, Светочка включает проигрыватель, ставит пластинку. Скрипичный концерт.

Садится в кресле, кутается в плед и слушает. Пока не стемнеет.

А кольцо с брильянтом редко надевает, когда муж должен приехать.

Подарок все-таки.

Такая разная любовь

*Посвящаю публикацию ушедшему в 2017 году Виктору Казакевичу,
уникальному человеку и врачу МНИОИ им Герцена.*

Надо же, встретила ее в лифте ровно через год. Веселая, располнела, глаза сияют. Можно и не спрашивать, как она. Светка была самая молоденькая, за нее больше всех боялась.

В прошлом году мы, четверо, познакомились в одной палате в онкоцентре.

Заведение не для слабонервных, ходят все с опрокинутыми лицами, словно только что вернулись с собственных похорон. Но в нашем-то отделении не так. Собрались одни тетки. Все, как на подбор, семейные, значит, голова болит за оставшихся дома кровинушек куда больше, чем за себя. Целыми днями под фланирование по коридору идут подробные инструкции, как разогреть котлеты да как разделать замороженную курицу. Некоторые решаются уроки делать с младшеклашками, но такой досуг не для меня.

Наконец оторвалась от дома, ни тебе кухни, ни тебе детей, спи и наслаждайся жизнью. Я сперва растерялась: и почитать, и поболтать, и отоспаться за последние лет 20 хочется. Прямо не знаешь за что ухватиться. Про диагноз я и с врачом уже наговорилась, медицинские порталы облазила, все ясно: где стою, куда идти. Обсуждать нечего, жду операцию. Остальные все равно в своих диагнозах ничего не смыслят, так что и для них не тема, а вот «за жизнь»...

Съехали со всей России, девочкам интересно, кто как живет, какие цены в магазинах, как с жильем, с работой. Ну, прошлись по всей нищете, разницы особой нет, притихли. И пошла у нас главная тема, которая при любой власти и при любых ценах наиважнейшая.

А значит, о любви. Тут, я вам скажу, судьбы...

Нет, есть, конечно, ясные и простые, как линейка. В школе за одной партой, влюбились, женились, детей растят, всё как у всех. А есть такие, как у бабы Вали, Валентины. Самая старшая среди нас. Теперь-то ей под шестьдесят. А когда начиналась любовь, была молоденькая девчонка, закончила что-то научно-техническое, получила распределение в Дубну, там и познакомилась с будущим мужем.

Всем хорош парень. Честный, ясноглазый, старательный, вот пошла любовь-морковь, поженились, всё прекрасно. Даже квартиру им, научным работникам, дали: малолитражечка, зато своя, двухкомнатная. Когда родилась у них дочка, муж помогал. Стирка, глажка, убаюкать. Как-то

послали юного отца в командировку, да не одного, а с коллегой на две или три недели. Как уехали, так он уже к жене и не вернулся. Случился с коллегой роман. Да так быстро все закрутилось, что к жене заходить за вещами он не стал, постеснялся.

Горько, конечно, но что тут сделаешь. Стала Валентина налаживать жизнь матери-одиночки. Не она первая, понятно. Прошло совсем немного времени, может, с полгода, как начал молодой муж к первой жене захаивать — с ребенком помочь, любил он дочку. Валентина сперва отказывалась, потом разрешила. Много ли одна, с ребенком на руках, дел переделаешь. Дальше — больше. Приходит наш муж к своей Вале и говорит:

— Прости, не могу без вас жить. То была ошибка, мне никто, кроме вас с дочкой, не нужен, я возвращаюсь и к разлучнице больше ни ногой.

Валентина молча приняла эти слова, только и заметила, что раз квартира на них двоих была получена, пусть живет, раз прописан.

Муж решил, что имеет право Валя на обиду, надо перетерпеть и потихоньку, помаленьку жизнь наладится. Проходит год, другой. Дочка растет, в школу пошла. Отец в ней души не чает, везде вместе. В школу — в школу, на лыжах кататься — на лыжах кататься. Вроде бы, все хорошо, разлучница за другого давно замуж вышла, городок маленький: все всё забыли, даже бабки на скамейке судачить о них престали, а Валентина простить мужа не может...

Не поверите, да я сама бы не поверила, если бы не видела своими глазами, как он из этой Дубны приезжает, привозит котлетки в термосе — чтобы теплые. Фрукты — апельсины, мандарины. В коридор выходит чистить от кожуры, чтобы супруга от аллергии не страдала.

Она это все принимает, но смотрит как на постороннего. Не пять, не десять, тридцать лет, дорогие вы мои, продолжается это несчастье. Дочка выросла, любит она обоих своих родителей, а они, как были, так до сих пор — врозь.

Церковь у них там построили, начала Валя туда ходить. Службы да молитвы, а мира в семье нет, как не было.

Тут ей поставили неутешительный диагноз, состояние запущенное, испугалась наша Валентина смерти и испугалась не на шутку.

Вот-вот операция. Вышла она в коридор — идет, ноги одна за другую заплетаются от страха. А там и сердце слабое, кто знает, выйдет она из анестезии. Вижу, совсем от страха позеленела, бормочет молитвы ходит. Тут

меня разобрало, откуда только дерзость взялась, подхожу и говорю, глядя прямо в лицо:

— Ты знаешь, что жизнь не муж тебе испортил, а ты ему сломала? Вот тебе слово, если не отпустишь обиду, не признаешь, что загубила и себя, и своего мужа, из операционной уедешь прямо в морг!

Не надо мне ничего говорить, сама знаю, что...

Валентина залилась слезами, как ребенок, и ее через полчаса увезли на операцию.

Очнулась она только на следующий день. Муж уже ждал, топтался у двери, и вдруг, впервые, Валя попросила всех выйти из палаты, когда он зайдет. О чем они толковали, я вам не скажу, сама не знаю. Но видела не раз, как он бережно под руку ее ведет, а она от него глаз не отводит.

Когда вошла в палату новенькая, мы даже не заметили. Она опустилась на свободную кровать, как осенний лист в безветренную погоду. Так же тихо и покорно. словно боялась обратить на себя внимание. Хорошо, медсестра пришла и стала оформлять бумаги. Из ее расспросов мы и поняли, кто она и откуда. Чеченка из дальнего села, немного за пятьдесят, и ей очень шло ее имя Аиша, легкое и едва шуршащее. Попала она в Москву на лечение только чудом. Нашлась родственница одноклассника ее сына, которая живет в Красногорске, и та, буквально за волосы, вытянула Аишу в онкоцентр. Бедняжка побаивалась ехать сюда, отрываться от привычной жизни и, главное, от единственного сына. Его она буквально боготворила. Стоило только ей призадуматься, как сын являлся ей в грезах, и лицо принимало выражение такой глубокой нежности, что хотелось отвернуться, чтобы не чувствовать смущения.

Аиша пережила чеченские войны, потеряла многих родных и потому так дорожила каждым мирным днем без утрат, среди тех, кого любила.

Выдали замуж Аишу довольно поздно: ей было под тридцать, да еще и за джигита, имеющего первую жену и детей. Когда она забеременела, то муж куда-то исчез. Нет, не совсем исчез, а только для нее. Сложные отношения между родами возникли, чуть не до кровной мести дошло, и супруг от нее отказался. Больше Аишу никогда замуж не звали, но это ее не особо печалило — самый лучший из мужчин, ее мальчик, был с ней. Старший брат

взял Аишу под свой покров, и она растила сыночка в большом семейном доме с кучей племянников.

О себе женщина молчала, эту драму открыла нам племянница, которая поехала с ней в Москву. Не принято у них оставлять человека одного в чужом городе, да еще беспомощного.

Хорошенькая и бойкая молодая чеченка каждый день приезжала к обеду с огромными сумками еды. Она вставала в 6 утра и шла на рынок, потом готовила удивительные национальные блюда, здешнюю еду они не ели вообще, и ехала в больницу, запаковав свои изумительно пахнущие волшебными ароматами манты и пироги, чтобы не растрясти их на московских дорогах. И только здесь, примостившись вдвоем на краешке стула, она могла позволить себе утолить голод. Аиша щедро угощала сначала всю палату, а потом и остальных желающих. Мы на все лады расхваливали стряпню, да и как тут не радоваться, больничная еда проскакивает, как мяч, и через пять минут не можешь припомнить: а ты ел в обед или нет.

Когда назначили нашей Аише день операции, приехали обе ее товарки, чтобы успокоить и приободрить.

Тихо, но настойчиво они долго перешептывались втроем. Ее уговаривали, она им возражала. Замолчали. В тишине чувствовалось напряжение.

Выяснилось: наша тихоня решила отказаться от операции. Думала, что, если удалят грудь, она станет изгоем, будет чувствовать себя чужой.

— Что скажет сын? А соседи?

Вот дура! Поди ей объясни: она же за полгода сгорит, как свечка... Дай, думаю, нажму на религию, вдруг проймет?

— Ты же мусульманка, верующая?

Глаза распахиваются, кивает.

— Значит, ты знаешь, Кто сотворил небо и землю? — кивок. — И тебя, и твою родину, и твои горы?

Видю, наворачиваются слезы. Зацепило, только не отводи глаза, только...

— И сына твоего, единственного?!

— Любимого сына!

Три пары черных замороженных глаз с благоговейным ужасом уставились на меня.

Тяну паузу и жду благотворных рыданий.

— А ты благодарения не ценишь! Как ты можешь быть такой неблагодарной?! Тебе жалко для Всевышнего расстаться хотя бы с одной больной сиськой, да еще б/у?!

Как рухнувший водопад, они смеялись, заливались хохотом на все лады, их невозможно было унять. Аиша перешла от хохота в стон, невозможно было отличить, рыдает она или смеется.

Отирая слезы и отмахиваясь от все еще вспыхивающего смеха, внезапно осмелевшая чеченка призналась:

— Знаешь, я больше не боюсь.

Забирали Аишу из больницы обе. Прощаясь, она показала нам фотографию сына. Надо же, только в последний день. Ее тетка, та, что из Красногорска, вдруг тоже вынула снимок и горько сказала:

— А это — мои...

Недоуменно смотрим то на детей, то на их мать.

Будничным голосом она рассказала нам, как родила двойню много лет назад, как растила и лелеяла, как заболели по очереди, а в местной больнице всё не могли поставить диагноз, кололи антибиотики, меняли на другие, снова кололи.

Но нет, умерли оба.

Сбежала от горя. Прилетает на могилу раз в год и возвращается в свою пустую квартиру под Москвой.

Теперь по цепочке передают ей больных, чтобы пристроила в Москве в хорошие больницы, она и устраивает. Как она договаривается, никто не знает. Выжгло у нее горем всё, остались только фотография и долг. Помогать всем, кто просит.

Стоим в лифте, улыбаемся, Светка в модных джинсах, маникюр. Как же я ошибалась...

После тяжелой операции, вся в пластырях, трубки торчат, двигаться тяжело. Преодолевает себя, садится на кровати поудобнее, рассказывает.

— Ой, девочки, а мне, наконец, повезло. У меня такая любовь, такая...

Света была из профессорской семьи, всю жизнь тысячи правил: как встать, как одеться, за стол без салфеток не сядешь. Одна Светка такая... непородистая. Вечно у нее растрепанные волосы и разодранные коленки. Всегда опаздывает, вечно ключи забывает. Неудачный ребенок, одним словом. Старший брат, вся родня — люди как люди, а она — нет.

Так и повелось с детского сада, потом со школы: вечно вызывали родителей и жаловались. Хотя училась хорошо, но так неровно: то 2, то 5. К старшим классам увлеклась программированием, тут удача. И родители не возражали. Начала готовиться к поступлению в хороший институт, и здесь вечная планида. Влюбилась в старшеклассника, который увлекался рок-музыкой. Куда девчонке податься? Она к нему, на ударные.

Говорю же, неудачный ребенок.

С огромными скандалами и уговорами, удалось-таки родителям запихать дочку в институт, а возлюбленный потопал в армию.

Хорошо, увлеклась учебой, и ей удавалось быть среди первых на курсе. Многим она нравилась, одни парни вокруг, но Светку они не волновали. Сердце занято. Тут стал появляться в доме товарищ ее старшего брата, ухаживал красиво и очень нравился родителям, они прямо расцветали. И вот этот товарищ приглашает ее в кино, красивый фильм, романтическое настроение, и он внезапно встает на одно колено и делает нашей героине предложение руки и сердца. Ба, что ж делать-то?

Девчонка растерялась, а родители давай упрашивать и уламывать.

Оказалось, что жених не просто так Светке на голову свалился, он у ее отца на кафедре кандидатскую писал.

Вроде, она и парня своего ждала, и замуж совсем не собиралась. Но тут семья опять начала пить валерьянку и вздыхать. А для Светки нет ничего хуже, когда на нее смотрят трагическим взором и начинают дрожащей рукой перебирать лекарства.

Короче, уговорили. Вышла она. За кандидата.

Раньше ее двое родителей контролировали, теперь третий добавился. Всё туда же. Ни с подружкой поболтать, ни любимую музыку послушать. Муж смотрел на нее с таким недоумением, что руки сами опускались.

Возвратился из армии музыкант, а Светка замужем и уже беременна.

Что тут скажешь? Вот и я молчу. Разбежались, каждый в свою жизнь.

Родилась девочка, малышка — сущий ангел. Светка нам фотографии показывала. Все бы ничего: и любимая работа, и дочка чудесная, но с мужем отношения не сложились. Он вдоль, она поперек. Но люди воспитанные, интеллигентные, поэтому не забывают по утрам здороваться.

Еще год пролетел. Светлана наша проходит обследование, и у нее обнаруживают рак. Она в полной тоске, родители в ужасе. Всё, приехали.

Через третьи руки узнает об этом ее прежний возлюбленный. Хочет ее повидать, и она думает: хоть проститься с дорогим человеком.

Встретились и вместо трагического прощания влюбились накрепко по новой. Словно годы не прошли, будто и не расставались. Одно дыхание, одна жизнь на двоих.

Муж Светкин сбежал скорёхонько, у него, оказывается, давно запасной аэродром был, а Светка с дочкой — к музыканту. Только бы скорее с болезнью разобраться и...

Было у нас небольшое развлечение в больнице, ко мне медицинские карты тетки таскали.

У меня опыт был — несколько лет назад сына вытягивала. И чтобы с врачами говорить на ты — весь курс онкологии я выучила. Спорила с его лечащим так, что он чуть не отказался от сына.

Польстился народ на мою самоуверенность, и стали меня просить, чтобы я посмотрела в картах про течение болезни, что там после операции и как. Врачам некогда, да и не будут они в такие разъяснения пускаться. Ну, мы и развлекались от нечего делать.

И Светка карту стащила, просит: глянь.

А я что? Мне не трудно. Взяла ее карту, смотрю анализы, описания снимков, а сама холодею. У меня аж ладони вспотели. Думаю только о том, чтобы виду не подать. А там анализы — ужас, а динамика и вовсе — ужас, ужас, ужас!

У меня в висках начинает стучать одна фраза: да ей жизни остался год, не больше!

Светка меня начинает тормозить.

— Ты только честно скажи, не молчи!

Делаю вид, что не все поняла, листаю медленно, словно диловину разглядываю, а сама глаза поднять не могу.

Так и пульсирует в голове: тебе год остался, год!

Что я тогда ей соврала — не помню.

Как в замедленной съемке, отдаю карту, успокаиваю ее, а внутри себя бьюсь, к черту такие предсказания.

Можешь сказать человеку, у которого любовь, маленький ребенок и надежды, что ничего этого нет?

Вот и я — проводила ее к лифту, там музыкант сумки забрал, обнимает ее, счастливый, и не знает, сколько им еще отмеряно.

Куда уходят деревья

Это был огромный, нет, гигантский тополь. Мы втроем, Санька, Жэка и я, не могли обхватить его разом, такой он был старый и могучий. Не помню, кто первый назвал его Дубом, и это стало его именем. Правда, странно, но ведь он был не таким, как тысячи его сородичей, он был живым, это все наши подтвердят. Сколько я помню себя, столько помню и его.

Сначала под его корнями, похожими на клубки змей, мы прятали секретники. А вы не знаете, что такое секретники? Это красота и немножко тайны. Надо взять фольгу, в которую обычно завернуты конфеты и положить на нее маленький цветочек, только головку, или крошечный, как у гномов, букетик. Если закрыть такую картинку осколком бутылочного стекла, то и будет секретик. Останется чуть-чуть. Надо забросать его землей и позвать самого лучшего друга, чтобы открыть ему чудесную тайну, стирая пальцем землю с поверхности стекла. Тогда за изумрудным стеклом расцветет живой цветочный фонарик. Если чужие доберутся до твоего секретника, его разорят, так делают все, кроме лучшего друга. Разрываешь землю в заветном местечке, а там ничего! Какое разочарование...

Мы играли в прятки и салочки, те, кто успевал добежать до Дуба раньше водилы, стучали по нему ладонью и кричали, надрывая связки: «Палы-выры, я в домике!».

Потом в Дереве появилось маленькое дупло, туда было здорово складывать пиратские планы и дружеские записки. Напишешь, скатаешь ладонями в тонкую трубочку и затолкаешь к Дубу в сокровищницу. Можно было просто постучать в соседскую дверь, за которой жил Санька, или подняться с нашего девятого на двенадцатый к Олежке, которого мы дружно во дворе звали Жэкой. Но это совсем не интересно.

Все игры были так или иначе привязаны к нашему Дубу. Только раз, я помню, мы придумали бегать наперегонки перед проезжающей машиной. По нашей улочке они проезжали нечасто, и мы, стартанув в последнее мгновение, с хохотом проскакивали перед самым бампером. Водители ударяли по тормозам, орали дурниной и, грозя кулаком, уезжали. Все, кроме одного. Этот чудак остановился, как вкопанный, и, в гробовой тишине, не открывая двери, сидел с белым лицом, уставившись куда-то вдаль. Так и просидел, не повернув головы и изредка утирая нахлынувший пот со лба. Так же молча потом и уехал. Нам стало не по себе, и мы вернулись под родную крону.

А какая у нас была зима посреди лета! В июне на концах ветвей вызревали зеленые узелки на гибких соломках, потом они раскрывались и заполняли белым пухом весь двор, машины, путались под ногами в подъезде, начинался летний Новый год. Мы катали пушистые комья, сооружали кукольные горки, поджигали белые островки, которые вспыхивали мелким пламенем и тут же гасли, чудно.

Дуб зорко охранял наш детский скарб, который мы сваливали у его подножья: мячи, клюшки, велосипеды. Да, и мой новенький велосипед Орлёнок я тоже смело вручала под его охрану. Пока... Но Он был в этом не виноват!

На мой день рождения в квартире появился велосипед. Знаете, какое счастье в детстве получить его в подарок! Он пахнет машинным маслом и свежей краской, а как он блестит, какой у него звонкий-презвонкий голос! Нажимаешь пальцем на звонок, и не хочется отпускать: Динь-дилилинь-диньдилилинь-динь!

Папа, придерживая сзади седло, быстро научил меня кататься. И вот я уже выхожу сама со своим велосипедом, гордо оглядываю дворовую команду, и

все выстраиваются в очередь покататься. Велосипеды были редкостью, и, чтобы все могли насладиться быстрой ездой, мы делали по два круга вокруг двора и, спешившись у Дуба, уступали следующему. Визг стоял и трезвон, до самой кроны, до последнего листочка. Двое ребят постарше, совсем не знакомых, тоже заняли очередь и прокатились, как все. Мы устали от беготни, поэтому когда чужие попросили еще, отдала им велосипед с легкой душой. Один из них сел, а второй побежал следом, и вдруг они свернули в сторону и уехали прочь между домами. Ну, они же взрослые, наверняка не боятся заезжать далеко, нам и в голову не пришло испугаться. Между тем стемнело, пора было идти домой, а велосипеда всё не было.

Мы тянули до последнего, уже много раз звали домашние на ужин. И, кажется, Санька произнес отвратительное слово, похожее на жабу:

Кража. Украли.

Какая ерунда! Я сама дала им покататься, они заблудились и забыли наш двор, или сами отдали кому-то велосипед, вот и не возвращаются. Недоуменно машу рукой и плетусь домой: как же так, я уже столько раз пропустила свою очередь?!

Последний раз мы сидели под Дубом нашей компанией, а вокруг моросил дождь. Как славно прислониться спиной к жесткому панцирю коры и загробным голосом рассказывать жуткие истории под звуки ноющих капель.

«Однажды, черным-черным вечером черный-черный человек открывает черную-черную дверь...»

— Мы уезжаем в другую страну. И я, и бабушка с дедушкой, и мама с папой, — внезапно признался Жэка.

— А ты будешь приезжать? — спросили мы.

— Нет. Это невозможно.

— Звонить? Вон у Саньки есть телефон!

— Нет, это тоже нельзя, — сказал Жэка.

Получилась страшная история.

Это был недобрый знак, но мы как-то упустили его. Обидно, что никто не успел попрощаться с нашим Дубом, кроме Жэки. Он прибежал во двор молча, не поднимая головы, подошел к Дереву и, силясь обхватить, что-то горячо зашептал внутрь, в самое ухо...

Потом, не поднимая глаз, бросил: «Пока». И исчез. Прямо насовсем.

А через несколько недель не стало и Дуба. Была обычная гроза, которых он перенес сотни за свою долгую жизнь. Только ветер был необычно сильный и резкий. Вечером разом стало темно, и отдаленные раскаты глухих ударов разогнали вечерней уют. Потом в небе замелькали серебряные иглы, которые кололи крыши домов, и барабанный грохот грома приблизился к самым ушам. Он раздирал какую-то небесную ткань со страшным звуком, а ветер вступил в последнюю схватку со старым Дубом. Он сжимал его и раскачивал во все стороны, толкал в плечи и заламывал ветви. Сквозь сон я всё слышала, как дерево страшно трещит и не поддается, отражает атаку за атакой. Заснула с тяжелым сердцем, а к утру стало тихо, совсем тихо. С тревогой я подбежала к окну, едва открыв глаза. И не увидела. Там, где место занимала роскошная крона, зияло нагло-серое небо, словно всегда и было на этом месте.

Накинув плащ и натянув босоножки, не стала дожидаться лифта и бросилась вниз.

На всей площади между домами, раскинув обездвиженные руки, лежал поверженный великан. Он смотрел в небеса застывшими невидящими глазами и слегка подрагивал листьями. Вокруг разметало обломки веток и драной коры. На месте, где раньше было дерево, торчал огромный обломанный кусок пня. Словно зуб гиганта. Многие выходили из подъезда, чтобы глянуть на редкую картину, а мы, дети, бродили недоуменно между ветвями, которые были нашим кровом, и не знали, что делать. Молча, поёживаясь от утреннего холода, я поднялась в дом, ничего не говоря. Теперь привыкала садиться спиной к окну.

На следующее утро, когда я бежала в школу, то видела, как во дворе лежат распиленные огромные деревянные колеса с черной сердцевинкой, а листву и ветки уже увезли в грузовиках. Еще через неделю нельзя было узнать наш двор: гигантский зуб выкорчевали и на месте чудного Древа сделали круглую могилу и засадили цветами. Взрослые, правда, называли это клумбой и, стараясь стереть память о нашем Дубе, натыкали в рыхлую землю цветные грибы. Но кто же сажает на могиле грибы? Мы с Саньком, не сговариваясь, уволокли цветную дрянь и, как следует истоптав ногами, выбросили в помойку.

Теперь поле битвы и поражения выглядело достойно.

Мы перестали играть во дворе, наверное, из-за Жэки, который был у нас заводилой, или просто выросли, и нас манили другие дома и люди.

Но память хранит шум листвы и весенний запах новорожденных листочков. Я непременно узнаю, куда уходят деревья. Мы будем стоять, крепко обнявшись, и вспоминать наш двор, ребят и те слова, что ТОГДА нашептал тебе Жэка.

Квартира №136

Наконец ушла со своей собакой. Это не пес, а одно недоразумение. Лает, как сирена у скорой, ножки тонюсенькие трясутся, и уши, такие тонкие и прозрачные, словно бумажные, заламываются от ветра назад. Не на всех, правда, задирается, но на Витьку зубы скалит. Крошечная, а нападать не боится, когда поводок натягивается, прыгает на задних лапах, не унять.

Прошлым летом Витёк разозлился на Булку и выгнал ее из игры: а чего она мяч кидает всегда криво? Из-за нее наша команда главный матч проиграла в вышибалы. Всегда команда Витька выигрывает, он старше остальных, но главное — увёртливый, в него никак мячом не попадешь, а когда его черед вышибать, то он не промахнется, только очень больно и резко метнет — всё, иди отдыхать на скамейку и потирай синяк. А тут на команды делились, и Булка нам досталась по жребью.

Она кинет вечно мяч так, что или в руки сопернику, или вообще в сторону. Чего с нее возьмешь? Она и учится в школе для УО — умственно отсталых, значит. Высокая и полная, одевается всегда, как тетка в возрасте, — коричневые кофты и юбки. Щурится, и когда хочет что-то сказать скрипучим голосом, у нее обнажается десна из-под верхней губы. Тогда у Булки ужасно незащитный вид. Да мы бы с ней и не ссорились, только из-за Витька. Теперь одна выходит гулять с собачонкой, ненадолго, и быстро домой.

И Булкой не мы ее вовсе прозвали, а грузчик, который достает из машины тяжелые деревянные лотки со свежим хлебом. Иногда мы все сбрасывались по копеечке и отправляли гонца за сдобой. Млея, откусывали по очереди, пока не оставался последний лакомый кусочек — награда за угощение.

А тут можно было получить даром, кто же откажется?

Едва завидев грузовик с надписью «Хлеб», несемся к заветному месту, затаив дыхание. Распахиваются двери машины, и оттуда вырываются облака

ароматного свежее испечённого хлеба; там густой дух бородинского, с черной лаковой коркой и горошинами приправ, нежная хала, посыпанная маком, заплетенная, словно коса, и сдобные булки с изюмом, сладкие и душистые с белыми бочками, без них нет вкуса воскресенья.

Грузчик снимает с полозьев лоток за лотком, и мы провожаем разочарованными взглядами ровные ряды кирпичиков черного и поджаристые гребни белых батонов, ровнѣхоньких, один к одному — значит, нам ничего не достанется! И тут замечаем, что на последнем лотке с булочками — одна со скошенным боком. Дядька, лениво следивший за нашими жадными взглядами, до последнего мгновения делает вид, что всё в порядке, но потом снисходительно щедро кивает нашей толстухе: ладно, чего смотришь, бери!

А она вылупилась, как баран на новые ворота, и стоит. Тогда дядька ей сдобу в руки затолкал и говорит:

— Что бестолковая-то такая? У-у-у — Булка!

С тех пор и повелось: Булка да Булка, а имя забыли начисто.

Жара: девчонки в сарафанах, мальчишки в шортах, у многих колени все в ссадинах. Мы расселись рядами и играем в колечко. Водящий складывает ладоши, зажав украшение, и проходит по всем, делая вид, что кладет колечко каждому. Поди угадай!

— На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой?

Тут к нам подошел совсем не знакомый мужчина в светлой шляпе и вежливо так спрашивает:

— Ребята, а в каком подъезде живет Лебедев Владимир? Сто тридцать шестая квартира?

Мы переглядываемся. Мой-то дом напротив, но и в длиннющей пятиэтажке я многих знаю, но не помню Владимира.

Стал упрашивать помочь найти ему друга-сослуживца. Я возьми и согласись: ладно уж, помогу. И мы отправились смотреть номера квартир у дверей подъездов. Третий, четвертый, так, тут еще сто седьмая, пойдете дальше, дядечка кивает, вот, последний подъезд, здесь уже наверняка. Заходим и поднимаемся к лифту. Уличный шум и яркий свет сразу гаснут, и мы

проходим в гулкую прохладную тишину. На полу выложен рисунок из мелких плиток, когда-то они были цветные, сейчас стерлись и потрескались. Пахнет кошками и заброшенностью.

Мы обогнули огромную кабину лифта за пыльной сеткой и начинаем подниматься по лестнице, я впереди, держась за перила, разглядываю каракули на стене. Темно-синей грязной краской закрашен низ, а вверх от линии водораздела до потолка обычная побелка. Обходим этаж за этажом, и я читаю имена жильцов коммуналок, которые написаны на корявых табличках под выпирающим звонком. Попалась дверь, у которой было сразу три звонка, один хромоногий, висел на проводах, замотанных изолентой. Поднимаемся на последний этаж, почему-то настроение падает и мрачнеет с каждой ступенькой, я уже вижу заветные цифры на двери, но здесь же никакого...

Вдруг плечо сжала ледяная рука.

— Подожди, не спеши, — слышу свистящий шепот над головой.

Сердце от страха подпрыгивает прямо к горлу.

Хочу крикнуть, но голос предательски застревает внутри, ноги, наливаясь свинцом, мгновенно прирастают к ступеням. Нечем дышать. Глаза закрывает пелена. Пульс бьет изнутри.

Вспарывает глухоту бешеный собачий лай!

Почти не чувствую, как освободилось плечо, и громкие удары подкованных каблучков по ступеням забарабанили вниз.

Удаляются, тише, еще тише. Гроыхнула дверь подъезда, притянутая пружиной.

Не могу пошевелиться.

Собака заливается и начинает хрипеть от надрыва. Наконец запертая дверь открывается, и за ней стоит Булка, которая натягивает поводок, пытаясь удержать дрожащую от изнеможения собачонку.

— Ты? А зачем ты пришла? — смотрит на меня удивленно, у нее блестит десна под верхней губой. Хрип стихает, пес ложится у ее ног и часто-часто дышит.

— Я? — слышу свой изменившийся сиплый голос. — Я к тебе... Ты это, выходи гулять с нами. Витька ждет тоже...

Святой обет

Разбираю мамины архивы, до сих пор с начала девяностых лежат банковские расписки и целые журналы — приход, расход. Казалось бы, 25 лет прошло, кому оно нужно, все роздано: с расписками и личной подписью. Словно придет ревизия и предъявит счет, а она всегда готова дать ответ за каждую копейку.

Голодные годы, мама и ее друзья соорудили дружеский коллектив, чтобы вместе сдавать деньги в банк «Чара». Кто помнит, тот вздрогнет. На те огромные проценты, которые они выдавали, можно было существовать безбедно. Очереди стояли часами, только очень крупные суммы, которые несли редкие клиенты, обслуживались в обход. Особыми клерками с кофеем и в удобных креслах.

Для того-то друзья и затеялись, иначе весь рабочий день можно было проторчать в банке. Мама, человек самый ответственный, взяла на себя общую бухгалтерию, и потянулись друзья, друзья друзей и родственники знакомых. У мужчин был свой график дежурств по охране денег, в общем, всё как в банке, только домашний филиал.

Получение и раздача процентов тоже были обставлены весьма четко: деньги, кейс, машина, охрана, к маме.

Мы свои деньги с мужем тоже, конечно, сдавали под эти бешеные проценты и ждали полочки, как манны небесной.

Я дохаживала с животом последние недели, и в семье только и разговоров было, что очень ждут мальчика. О девочке даже не заикайся, можно было подумать, что ей и на свет лучше не рождаться с таким настроением. Муж так хотел второго сына, что согласен был на венчание, на котором настаивал мой духовник. Иначе мерзость беззакония поглотит, как пучина. Было чего мне волноваться. Идет всеобщая, я притулилась у Владимирской и слезно заныла обычную песню про необходимость рождения мальчика, а иначе... ну, всё по кругу.

И приходит мне мысль в голову, что непременно надо дать обет, чтобы получить желаемое. Стала перебирать в уме и вспомнила, что нам из банка изрядная сумма придет, тут я и жажнула: дескать, мне мальчика, а я непременно пожертвую все деньги до копейки нуждающемуся.

Обрадовалась я удачной сделке и, словно мы ударили по рукам, домой вернулась в добром расположении и полной уверенности, что теперь дело за малым.

Вскоре, действительно, родился сын. Радость до небес, но она быстро уступила место хлопотам и сложностям, было ни до чего, и все перипетии с обетами ушли в далекое прошлое, а проблемы с кормлением, болезнями и намечавшимся переездом на новую квартиру, в другом районе, наоборот, — в настоящее. Несколько месяцев сборов поглотили последние воспоминания о данном обете.

Как принято писать в таких случаях, неожиданно раздался телефонный звонок. Но так оно и было!

— Здравствуйте, вы меня не знаете, я младший брат Наташи В., вашей одноклассницы.

Надо сказать, что класс у нас был очень дружный, мы все про всех знали, Наташка укатила к тому времени в США.

Надежной связи не было, но хорошие отношения остались.

— Вы меня не помните, наверно, вы приезжали к сестре в гости, я тогда еще машины под столом катал.

Ну что, начинаю смутно припоминать, действительно, был шкет младший Наташкин, вечно таскал чистые тетради и ручки. А кассеты, если в руки ему попадали, так лучше сразу проститься, заслушает до дыр. И чего ему от меня нужно?

— Я нашел записную книжку сестры и решил вам позвонить, — да, думаю, какая счастливая мысль стукнула. — Мне ваша мама дала новый телефон.

Мама? Что это с ней? Без разрешения какому-то мужику мой телефон дала, хорошо, что сама к телефону подошла, еще бы вышел скандал.

— Что-нибудь с Наташкой?

— Да нет, нет. С ней всё норм. Тут мне, для меня.

Вадим начал медленно и путано объяснять свою историю. А я в продолжение всего разговора всё думала, как от него побыстрее отделаться, неудобно человека обижать, вот и киваю, хотя нить событий от меня давно ускользнула.

— Так чего вы хотите от меня? Я что, могу вам подсказать, помочь?

— Да знаете, мне стало известно, что вы верующая, в храм ходите. Можете мне сказать адрес или телефон фонда церковного, который сможет мне с деньгами помочь. Чтоб эту самую машинку купить.

Я-то смысл разговора упустила, но фонд, деньгами помочь? В сказке, что ль, живет человек?

— Вадим, голубчик, да у нас нищий монастырь, мы сами в него деньги и продукты несем, какое помочь? Да еще такая крупная покупка, швейная машинка, вы что?

— Ну, тогда мне конец. Она меня выгонит. Жена. Она больше ни за что не поверит.

Он сказал эти слова таким опустившимся от отчаяния голосом, что во мне зашевелилось участие.

— А сколько денег вам не хватает, чтобы ее купить?

— Да мне всей суммы не хватает. Я же вам рассказывал, что на инструменты ее отца я кое-как собрал и одолжил у своих, а машинку надо целиком купить, у меня всей суммы нет, 168 рублей. А в комиссионке в точности такая. Всю Москву обошел.

Между прочим, зарплата месячная, приличная. И тут в памяти у меня начинает шевелиться нехороший червячок. Больно цифра знакомая. Полезла я в выписки, которые моя же мама делала для всех самым добросовестным образом.

— Слушайте, ой, слушай, ты можешь подождать у телефона, только не клади трубку! Не клади, слышишь?

Открываю и вижу, что за отчетный период в конце месяца должна быть выдана... да, вы правильно догадались, меня как кипятком обдали — 168 рублей 17 копеек. И весь мой разговор у Владимирской ясно всплыл. А совпадение цифр до рубля было настолько убедительным, что сомнений не оставалось. Оно самое, прилетело.

— Ты слушаешь? Тут дело такое, когда тебе деньги нужны?

— До конца недели, они с дачи приезжают в воскресенье.

— Так, брат Наташи Вадим, давай теперь еще раз, четко, по полкам. Какая такая машинка, почему тебе она сдалась? Мне каждая мелочь важна, история как-никак.

Вадим женился по безумной любви, институт пришлось бросить, чтобы зарабатывать на семью. Дочка родилась. Жили у жены с ее с отцом и народившейся малышкой. Он пристроился челноком — возил из Китая сумки и торговал. Деньги трудные, но холод-мороз да друзья-товарищи. Выпивал, потом уже крепко. Несколько раз жена выгоняла из дому, он, как побитая собака, возвращался, жену и дочку любил до смерти.

Вот и в последний раз они помирились, и жена забрала документы, поданные на развод. Сама с дочкой и отцом уехала на дачу, а Вадим месяца два-три держался. Он уже и врачей всех обошел, пошел по храмам. Ему там и сказали, что одолевает его дьявольская страсть. Надо ему креститься, молитва, пост — и страсть отступит. Очень ему страшно было, что жена с дочерью навсегда его покинут, и начал он в храм ходить, молиться, чтобы его Бог вразумил и отлучил от водки.

А тут, как на грех, бывшего сослуживца встретил, когда семья была на даче. Ну, и понеслось! Когда с головной болью очнулся — ни сослуживца, ни инструментов отца, ни, что самое печальное, швейной машинки жены уже и духу не было. А машинка была покойной матери, поэтому жена ею особо дорожила, недавно шить научилась, так благоговейно ее всякий раз закрывала, словно не железака, а нежное животное какое. Когда понял Вадим, что серьезно попал, то переживал не за пропавшее добро, не за то, куда сослуживец делся и его ли рук дело, а только за то, что семейная реликвия жены пропала.

Она не простит, такое — точно не простит. Она свою мамочку покойную чтила, как святую. А тут такое — конец семье и прощай, жена и дочь.

Выложил историю и молчит, надеется.

— Ладно, — говорю, — тут один банк вроде должен выдать бонус для клиентов, я в розыгрыше участвую, если выиграет номер, твоя взяла.

Не говорить же ему в лоб, что я такие обеты раздаю. Короче, получила я деньги и сразу ему до копейки отдала, он счастлив был до неба. Вот видишь, говорит, какой я удачливый, выиграл-таки розыгрыш. Я поддакивала. Купил он швейную машинку, вернулась семья с дачи, и не сразу распознали подмены. Потом, узнав историю, простили.

А Вадим от радости так всей семьей и крестился, очень ему понравился православный Бог.

Через пару недель он купил подарки и позвонил: теперь, говорит, меня никто с правильной дороги не собьет, а в память твоего участия в моей судьбе хочу привезти подарки, ты не сомневайся, я сам всё заработал, бегу к вам, — и попросил напомнить адрес.

Его тело нашли через неделю, электричка, проходившая рядом, отбросила его к гаражу, и виском он попал на угол. Лежал, прижимая пакет с сувенирами, и лицо за неделю совсем не потемнело, а, наоборот, было такое светлое, что обходчик его за живого принял.

В нашей семье пятеро детей, они уже взрослые. Мой муж своих двух дочерей любит в сто раз сильнее парней и удивляется до сих пор, как это он мальчика хотел.

Недавно ушла моя мама. К последнему ответу она тщательно готовилась, впрочем, как и всегда.

Ну, а обеты? Что обеты... Ну их.

ГЕЛИЯ ХАРИТОНОВА

Заначка

У Вики был муж каких поискать: добрый, любящий и совершенно не жадный. И все же Вика предпочитала иметь от него заначку — «на всякий пожарный». Глупо — да, и она прекрасно знала, что ее Олег никогда не пожалеет для нее денег, но с заначкой было все же спокойнее и как-то увереннее, что ли. Эти не учтенные в семейном бюджете деньги давали Виктории чувство некоей свободы. Она делала неожиданные подарки родным и друзьям (с радостью памятуя о том, что «блаженнее давать, нежели брать»), покупала себе хорошие духи (предварительно подкопив несколько месяцев), жертвовала страждущим (эта статья расходов более остальных оправдывала само существование заначки), «подкидывала» матери или уже выросшему и живущему со своей семьей сыну (который, впрочем, вовсе не нуждался в материнской денежной поддержке). Заначка пополнялась из источников, не известных мужу: например, гуманитарная денежная помощь от живущей за границей подруги, неожиданная премия на работе, гонорар за статью двухгодичной давности из журнала, наконец-то пережившего финансовый

кризис, и т.д. С деньгами Вика расставалась легко, никогда о них не жалела. Она лишь старалась неукоснительно соблюдать и поддерживать некий баланс между благотворительными пожертвованиями и несерьезными безделушками, строго следя за тем, чтобы чаша с последними не перевесила.

По всей видимости, ТАМ, наверху, за этим балансом тоже следили. И пока он сохранялся, заначке позволялось быть и даже систематически пополняться. Но вот однажды многолетнее равновесие нарушилось. На Викторю вдруг что-то нашло, и она с головой окунулась в так называемый шопинг. Ее просто несло. И хоть приобретала она всякие красивые разности в основном не себе, а родным, близким и даже не очень близким людям, к благотворительности это не имело никакого отношения.

И вот в один прекрасный день Олег обнаружил Викины деньги. Они просто выпали к его ногам из ее тайника (тайником не один год верой и правдой служил карман пиджака, так давно и несдвигаясь висевшего в шкафу, что его уже просто не замечали). Каким именно образом деньги выпали и оказались на полу, доподлинно не известно. Да это и неважно. Важно то, что в очередной (который уж!) раз подтвердилась истина о том, что все тайное становится явным — рано или поздно. А еще то, что деликатный Олег ни о чем не спросил кинувшуюся собирать купюры Вику и тем самым дал ей время одуматься и решить: рассказать правду или продолжить обман, тем самым умножив его, и придумать ответ на вопрос: что это за деньги. Вопрос последовал, но гораздо позже и, так сказать, не в лоб, что делало опять-таки честь Олегу. Он спросил: «Вик, помнишь, ты говорила, что хочешь продать свою дубленку, все равно, мол, не носишь? Так что, тебе удалось это сделать?». Вика, уже не один час ожидающая разоблачения, отозвалась и, в отличие от мужа, сразу по теме: «Если ты о деньгах, которые сегодня выпали из шкафа, то это пожертвование для дома ребенка. Мы на работе собрали, и теперь мне надо их передать Светлане Ильиничне. Вот, думаю, на днях к ней съездить».

Светлана Ильинична была волонтером в доме ребенка, забирала для несчастных малышей б/у игрушки, одежду, шила им постельное белье веселых расцветок, ну и принимала от равнодушных людей деньги на приобретение памперсов и одноразовых пеленок, которых всегда не хватало. А еще добрейшая Светлана Ильинична была хорошей знакомой, почти подругой Вики и Олега, периодически, но не часто бывала у них в

гостях, они вместе праздновали Рождество и Пасху, вместе переживали общие радости и помогали друг дружке переносить невзгоды.

То, что Вика придумала про пожертвование для деток, опекаемых Светланой Ильиничной, было тем правдоподобней, что они с Олегом и впрямь частенько помогали им. Поэтому муж вполне удовлетворился ответом жены. Успокоилась и Вика. Да ненадолго...

Через некоторое время за ужином Олег спохватился: «Ах да, чуть не забыл! Вчера встретил Светлану Ильиничну, поговорили, звала в гости». «И-и-и?» — оторопевшая Вика не донесла вилку до рта. «Я ей сказал, что ты и так собиралась к ней на днях зайти». Больше Олег ничего не стал говорить. А Вика не смела спросить. Весь вечер она провела в сомнениях и терзаниях: сказал муж Светлане Ильиничне про деньги или нет. Наконец, не выдержала. С деланно безразличным видом Виктория задала-таки мучивший ее вопрос мужу: «Ну, ты, я надеюсь, сказал Светлане Ильиничне, что я ей деньги принесу?» «Да, конечно, — с неподдельной радостью отозвался Олег. — Я даже не смог отказать себе в удовольствии озвучить ту сумму, которую твоим замечательным сотрудникам удалось собрать для бедных детишек». «Ну и молодец», — Вика побрела на кухню.

Она тупо смотрела в чашку с остывшим чаем, и вся очевидность ситуации словно прорисовалась на поверхности коричневой глади. Вика аж зажмурилась. Она готова была провалиться сквозь землю. Прямо здесь. Сейчас. Но вот ведь что удивительно. Ей не перед кем было оправдываться и виниться — не было ни одного человека на земле, который знал бы об ее лжи, ее грехе, которому было бы невмочь смотреть в глаза. Даже напротив. В глазах мужа и Светланы Ильиничны Виктория выглядела даже с положительной стороны. Еще бы! Этакая благодетельница, сумела организовать народ на работе и собрать приличную сумму денег.

Скорым шагом Вика шла к дому Светланы Ильиничны. Она знала, что хозяйки дома нет, только дочь. Вот ей-то Вика и передаст деньги. Смотреть в благодарные глаза Светланы Ильиничны она просто не сможет. Откуда-то из советско-лозунговых времен пришло в голову это: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Маршевым темпом оно шагало по кругу в мозгах, почти в ногу с самой Викторией. О том, Кто научит и Кто заставит — в ее конкретной истории, у Вики вопросов не возникало. Ей только было очень жаль, что не она явилась инициатором этого благодеяния. Ее и впрямь

заставили. А значит, это доброе дело, как говорили в детстве, — «не считОво».

Вечером Вика решила «почистить» гардероб — отдать в приют или «Красный крест» те вещи и обувь, которые не носят уже годами. Остановилась в нерешительности перед пиджаком в шкафу. Тайник был пуст. «Нужен он мне теперь?» — Виктория в раздумье стянула пиджак с вешалки. Тут зазвонил ее мобильный. Это была сестра. «Викуля! Завтра утром приезжает дядя Коля. Надо его встретить на вокзале. Он только проездом. Отец с ним денежку для нас передал — как всегда, очень кстати! Ты сможешь подъехать, а то мне некогда?..»

Нечаянная радость

Тоня ждала ребенка. Уже почти девять месяцев. Хотя иногда ей казалось, что она ждала его всегда, что она родилась с этим чувством ожидания. Сколько себя помнила, Тоня все время «была» чьей-нибудь мамой: то куклы Маши, то таксы Тутси, то соседского мальчика Вити, которого ей иногда разрешали покатать в коляске. Даже сестренку Катю Тоня забирала из садика или учила рисовать колечки с каким-то материнским чувством, не сердясь на нее и не испытывая никакого взрослого превосходства. И вот теперь эта детская игра в маму готова была стать реальностью.

Воплощения своего долгого ожидания Тоня ждала терпеливо и тихо. Она ни на миг не предавала уже живущего в ней малыша — ни словом, ни мыслью, ни вздохом. У нее не было обычных капризов беременной женщины — хочу то, не хочу этого. Она ни разу никому не пожаловалась, даже самой себе, на изнуряющую тошноту и головную боль в первые месяцы беременности, и потом, когда у нее кололо, тянуло, схватывало и отекало в последние недели. Она только повторяла: «Потерпи, маленький». Тоня почему-то все свои недомогания относил к ребенку, как будто это у него нестерпимо болела голова и сводило судорогой ноги. Ей не казалось, как другим беременным женщинам, что она уже целую вечность «ходит с пузом», не мечталось о кровати с дыркой, чтобы можно было поспать на животе. Она терпеливо сносила бесконечные запугивания участкового врача-гинеколога, и на все ее «не слышу сердца у ребенка» или «с таким гемоглобином только в гроб ложиться» Тоня отвечала молчанием. Причем не тем, которое сквозь зубы, а внутренней тишиной. Так же, тихо и спокойно, она сносила придирки

и оскорбления постоянно нетрезвой свекрови, в доме которой они с мужем жили. Она даже не терпела их, нет, а искренне жалела эту несчастную женщину, изуродованную и искалеченную алкоголем.

Стояли последние дни декабря — последние дни ожидания: народом — любимого праздника, а Тоней — появления на свет новой жизни. Нарядный город жил завершающими предновогодними приготовлениями. Огромные елки на площадях блистали праздничным убранством. Проспекты и улицы переливались разноцветьем огней. Румяные от мороза торговки притоптывали за столиками, где лежали вперемешку новогодние маски, мишура, «дождик», красные дед-морозовские колпаки и бенгальские огни. Народ спешно делал последние закупки и, хрустя неожиданно выпавшим снегом, нес по домам елки, подарки близким, тяжелые сумки продуктов, из которых торчали не уместящиеся коробки конфет и обернутые фольгой горлышки «Шампанского». Людям гирляндово подмигивали витрины, «сердечно приглашая» на праздничные распродажи и суля скидки. Одним словом, праздник наступал.

По привычке, или в силу традиции, с приходом нового года люди ожидают добрых перемен в жизни, новых радостей, успехов и удач — во всяком случае, этого они друг другу желают. Но кому-то — о, счастливец! — нынешний новый год совершенно определенно готовил нечаянную радость: одна из многочисленных акций, ставших уже приметой нашего времени, обещала первому младенцу, родившемуся в новом году, новую квартиру. Врач поставила Тоне срок родов — 1 января...

С того самого момента, как молодая женщина узнала об этой акции, к ее мечтам о будущем ребенке присоединились еще и грезы о собственной квартире — а вдруг.., такое совпадение.., бывают же чудеса... Раньше подобные мысли даже не возникали, вернее, как только они появлялись, то волевым усилием Тони пресекались на самом корню, поскольку собственного жилья не ожидалось никоим образом. По всей видимости, жить и растить своих детей (если Бог даст) им с мужем предстояло в квартире мужниной матери. Жилище это хоть и могло похвастаться размерами, да только все его достоинства сводились на нет алкоголизмом хозяйки. Свою маму Тоня уже похоронила. Тяжелая и долгая болезнь, а за ней смерть и похороны повлекли огромные денежные расходы, которые легли всей своей тяжестью на плечи Тони (отец их давно бросил и создал другую семью, младшая сестра рано вышла замуж и жила за границей).

Покрыть эти долги смогли только деньги, вырученные с продажи маминой квартиры. Так что, если бы не жилплощадь мужа (читай — его матери), то жить Тоне было бы негде...

Тоня шла из поликлиники и осторожно несла под сердцем любимое дитя. Ей нравились эти пешие прогулки, когда она могла вдоволь поговорить со своим еще не родившимся ребенком. «Представляешь, малыш, как это было бы замечательно, если бы у нас появился свой дом, — мечтательно говорила будущая мама. — В нем было бы тепло, уютно и тихо, я бы пела тебе колыбельные песни, а ты спал, посапывая, в своей кроватке, и никто бы не смог потревожить твой сон — ни пьяная бабушка, ни ее бесконечные друзья. Я бы не боялась и не переживала за то, что приготовленный для папы обед станет чьей-то закуской, а дверь в твою комнату кто-то выломает с требованием денег на выпивку. Вечерами мы бы с тобой встречали папу с работы, и тогда бы наш дом становился самым лучшим местом на земле, местом, где живет семья. Постепенно в нем появлялись бы твои братишки и сестренки, и счастье было бы безграничным...» На этом месте Тоню и впрямь переполняло чувство счастья, о большем ей не мечталось. Она встряхивала головой, как бы отгоняя грезы, и возвращалась к своему ожиданию материнства, в реальную жизнь.

А реальность, как правило, отличается от мечты. Первый малыш, родившийся в новогоднюю ночь и ставший обладателем новой квартиры, был не Тонин. Чудо рождения Тониного сына было в другом, — он появился на свет в Рождественскую ночь. Надо же!.. И это счастливое, еще не осознаваемое до конца молодой мамой событие заслонило и стерло из ее памяти все мысли и фантазии о собственном жилье. Она трепетала от одного взгляда на свое дитя. Целый букет чувств поселился в ее сердце с появлением младенца: изумление перед Божиим творением — Его бесценным даром, жалость к крохотному беззащитному созданию и вместе с ней огромная ответственность и безоговорочная готовность стать той хранительницей, чья молитва «со дна морского поднимает». Тоня была счастлива понести по жизни эту святую ношу, исполняя Божье поручение быть матерью. Бесконечная любовь просто затопила все естество молодой женщины. Она переливалась через край и текла подобно полноводной реке, распространяясь на врачей, медсестер, санитарок и нянечек роддома, на всех новорожденных малышей и их мам.

Достиг этот поток любви и того младенца, который всегда попадался Тоне на глаза, когда она оказывалась в детском отделении. Это была девочка. Она лежала в прозрачном домике-кювезе, иногда с катетером, иногда под капельницей. Она была совсем крошечной. «В чем душа держится», — невольно думалось Тоне, и дальше: «Почему она здесь совсем одна? Где ее мама?» Эти вопросы то и дело возникали в голове Тони, и даже когда она возвращалась в палату к своему сынишке, кормила его, бережно держа на руках, меняла ему пеленки и памперсы, образ девочки не покидал ее. Однажды молодая женщина задала мучивший ее вопрос детской медсестре. Та, сочувственно глянув на маленькое сморщенное синюшное тело в прозрачном кювезе, ответила: «Мамаша от нее отказалась сразу. Она и рожала ребенка с тем, чтобы бросить. Не нужен он ей, сама-то соплюха еще совсем. Прямо в день родов отказную написала и — ходу. Девочка недоношенная, не совсем здоровая. Чтобы поправляться, материнская любовь нужна. А где ее взять-то?!».

С этого момента Тоня совсем лишилась покоя. Как только ее сынок засыпал, она отправлялась в детское отделение — навестить девочку. Смотрела на малышку, улыбалась ей, разговаривала с ней. И совершенно новое, подобное хрупкому ростку, чувство зарождалось в душе молодой женщины-матери.

Когда-то давно мама рассказывала Тоне, как в роддоме их всех заставляли сцеживать оставшееся после кормления молоко, — для тех деток, кому не хватало материнского молока. Выдавали для этого каждой матери специальную посуду, и она подолгу, капля за каплей цедила в нее бесценную жидкость. Сейчас обязательное сцеживание отменили, тенденция в современной медицине иная — напротив, сцеживаться не рекомендуется. У Тони молока прибывало много, наверное, от большой любви и желания кормить своего малыша. А еще от желания поделиться своим молоком с девочкой-дюймовочкой. Она спросила на это разрешения у врача-педиатра, попросила у медсестры стерильную баночку и стала сцеживаться с думой о том, что каждая молочная капля будет для малышки живительной.

Так оно и вышло. Уже через сутки кормления отказной девочки Тониным молоком состояние новорожденной заметно улучшилось. Об этом Тоне прибежала сообщить сияющая детская медсестра. Чуть позже в палату к молодой маме пришла врач, чтобы рассказать о таком чуде и разделить эту радость. Внутри Тони все пело. Она была счастлива. А еще эта новость внесла

ясность в те изменения, которые происходили с молодой женщиной в последние дни. Известие стало последней каплей, положившей конец ее мучительным раздумьям. Тоня со всей ответственностью поняла и уже не боялась себе в этом признаться, — она любит эту девочку и хочет стать ей матерью.

Чем ближе подходил день выписки из роддома Тони с сыном, тем отчетливей она понимала — нужно что-то делать. Первое — поговорить с мужем. Теперь, когда она была сама тверда в своем решении, Тоня чувствовала себя готовой к этому разговору, она надеялась убедить дорогого ей человека в нужности, более того — необходимости, такого, без сомнения, серьезного и ответственного шага. В общем-то, они с мужем всегда были единомышленниками. С удивлением эту особенность отмечали оба еще в 8-м классе, когда только начинали дружить. Потом, с течением времени поняли, как на самом деле дорого и ценно это единомыслие. И все же не без страха Тоня заговорила об удочерении отказной девочки с супругом, когда он в очередной раз пришел навестить их с сыном. Все утро она молила Господа о том, чтобы Он помог найти ей нужные слова. Когда счастливый супруг появился на пороге их палаты, Тоня набрала в легкие воздуха, мысленно произнесла: «Господи, помоги!» и завела трудный, но очень важный разговор...

Господь помог...

Теперь перед супругами вставал другой вопрос — жилищный. Для удочерения он один из важных. И именно с его решением и возникала огромная, просто неразрешимая, проблема. Они в квартире не хозяева, а мать-пьяница только усугубляла ситуацию. Кто им даст принести ребенка в такой дом? Тоня была в отчаянии. Ни о чем другом она думать не могла. «Боже, Боже! — молилась молодая мать. — Ты так милостив ко мне. Столько всего чудесного произошло в моей жизни в последнее время. Ты дал мне долгожданное дитя, позволив ему родиться в необыкновенный день Рождества Твоего Сына. Ты дал мне любовь к этой оставленной матерью девочке. Ты расположил сердце моего супруга к принятию этой любви. Мы заодно с ним в нашем стремлении стать родителями брошенной крохе. Помоги, Боженька, одному Тебе ведомыми путями сбыться нашему родительству...»

Утро следующего дня Тоня встретила с решением обратиться за помощью и советом к заведующей отделением. Эту пожилую, похожую на ее первую

учительницу, женщину Тоня видела один раз, но этого оказалось достаточно, чтобы проникнуться к ней симпатией. Остановившись перед ее кабинетом, Тоня на секунду замешкалась, потом прошептала: «Твоя воля, Господи, да будет» и постучала в дверь.

За время своей работы в роддоме, а это более тридцати лет, заведующая родильным отделением Нина Васильевна повидала много матерей. Всяких. Она уже лучше любого специалиста разбиралась в их психологии и физиогномике. Можно было учебники писать. Она и собиралась, да только малыши и их мамы забирали у Нины Васильевны все силы и время. Она почти жила в роддоме. Поэтому когда Тоня робко присела на краешек стула напротив ее стола, и Нина Васильевна взглянула в глаза молодой матери, она увидела очень многое. Опытная и мудрая женщина почувствовала: разговор будет серьезный.

«...Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Я не знаю, к кому мне обратиться за помощью. Наверняка в Вашей практике были такие случаи. Вы знаете, что нужно для удочерения? А может, Вы знаете о каких-нибудь важных деталях и нюансах, которые существуют и которые могли бы помочь в нашей ситуации», — к концу своего монолога Тоня уже обессилела, она не могла сдерживать слез: последние дни оказались для нее очень тяжелыми. Нина Васильевна не останавливала молодую маму, дала ей выплакаться, тем более ей и самой нужен был тайм-аут. Когда молодая женщина вновь подняла на нее свои глаза, доктор еще раз долго и пристально посмотрела в них. И сказала — тепло, по-матерински: «Вчера вечером с подобной просьбой ко мне приходил твой муж, доченька. Но тогда я не могла еще ему сказать того, что уже могу сказать тебе сейчас. Не было сведений из Минздрава». Нина Васильевна пододвинула к себе лежащую перед ней папку, открыла ее, пробежала глазами, словно еще раз проверяя что-то, посмотрела на Тоню и внятно произнесла: «Девочка, которую вы с мужем, Бог даст, удочерите, — первый младенец, родившийся в новом году»...

Таксистка

Наконец-то ночную темноту прорезал свет фар, и к подъезду подъехали долгожданные «шашечки». Отметив про себя стильность и, соответственно, дороговизну машины, так безжалостно, на мой взгляд, отданной под такси, я уселась на переднее сиденье. Тут мне предстояло удивиться еще раз: за

рулем была женщина. Причем такая: молодая, белокурая (с некоторых пор не люблю слово «блондинка»), с маникюром, длинными ногами, голливудской улыбкой и т. д. В общем-то, в том, что именно такая женщина сидит за рулем именно такой машины, ничего удивительного нет — в наше время это весьма распространенное явление. Но то, что машина эта — такси, а женщина — таксистка, было, с одной стороны, очень необычно, а с другой, привлекало и рождало массу вопросов. Я непременно хотела получить ответы на эти свои вопросы. И поскольку ехать нам предстояло не так уж долго, то решила свой допрос начать сразу, как только машина тронулась с места.

Таксистка, вопреки моим опасениям, оказалась словоохотливой, без тени высокомерия и надменности. Она одарила меня белозубой улыбкой: «Как я докатилась до такой жизни, меня спрашивает практически каждый пассажир. Почему-то люди по этому поводу испытывают искреннее недоумение, а некоторые даже, смешно сказать, возмущение. И, как правило, ставят мне диагноз — «с жиру бесится». Я не обижаюсь, потому что понимаю — скорее всего, со стороны это так и выглядит. Но... сколько я себя помню, всегда очень хотела быть таксисткой. Как это в детстве было? Почти все мальчики мечтали стать космонавтами, девочки — артистками и певицами, как по единому клише. А я в своих мечтах видела себя таксисткой».

Она помолчала, видимо, вспоминая детство, а может, размышляя над тем, стоит ли со мной откровенничать дальше. Но больше за всю нашу дорогу я не задала ей ни единого вопроса. Глядя в окно на мелькающие огни ночной столицы, которая жила совершенно особенной, отличной от дневной, жизнью, я слушала монолог моей необычной собеседницы:

«У меня вообще в жизни иногда складывалось все так интересно: вот я чего-то очень-очень сильно хочу. Долго хочу, мучительно, все время думаю об этом, страдаю от отсутствия желаемого. И вдруг однажды раз — на, пожалуйста, возьми, чего ты так жаждала и чем грезила. И тут я пугаюсь. Как бы отдергиваю свою протянутую руку и отпрыгиваю назад: «Не надо мне. А что я с этим делать буду? Куда я его положу? Я даже не знаю, как им пользоваться». То есть я прошу у Бога нечто. Он, как любящий Отец, дает это мне, а я не беру! Не беру Его ДАР!»

При упоминании Бога я невольно оторвала свой взгляд от окна машины и еще раз внимательно посмотрела на женщину модельной внешности, которая сидела рядом со мной. Как-то, честно говоря, вовсе не вязался ее

яркий образ с понятием и пониманием Бога. Правда, я тут же устыдилась своих мыслей: экая нашлась тут христианка, судить взялась, кому быть ближе к Богу... К радости моей, таксистка не заметила моего удивления-осуждения, а возможно, мне это только показалось. Во всяком случае, она продолжала свой рассказ, и я уже совсем по-другому слушала ее:

«Потом я всегда очень сожалею о том, что не воспользовалась данной мне возможностью. Сожалею, что огорчила Бога своим отказом и что мечты так и остались мечтами. Когда обстоятельства сложились так, что работа таксисткой уже вот-вот была готова из грезы стать реальностью, я опять испугалась — а получится ли, смогу ли я... По привычке хотела отпрыгнуть назад. Но потом я еще больше испугалась огорчить Бога. Господи, в который уже раз я готова была оттолкнуть Его с Его дарами и бесконечной любовью ко мне! Поэтому я сказала «да» и шагнула в свою мечту... Вряд ли я смогу словами описать вам свое нынешнее счастье. Это непередаваемо. В этом счастье все: и дорога, по которой я еду, и машина — моя подруга и помощница, и люди, с которыми я встречаюсь и общаюсь, и вы... Представляете, вы — часть моего с-счастья».

На какое-то время она замолчала. Я слушала внутри себя и ощущала совершенно новое чувство, возникшее оттого, что я стала частью чьего-то счастья. Надо же!.. А таксистка продолжала:

«Правда, Бог преподносил мне Свои дары по-разному. Впрочем, и дары эти оказывались тоже разными. Такой вот однажды был. В недавнем прошлом мое материальное положение очень отличалось от нынешнего. И был такой период, когда я все время хотела денег. Ходила и твердила про себя: «Найти бы мне 100 долларов». Почему-то именно такую сумму я определила для себя. Наслушавшись и начитавшись чудесных историй о том, как Господь посылает деньги нуждающимся, я заглядывала буквально под каждый куст с надеждой увидеть там стодолларовую бумажку. Надо сказать, что я, конечно, тогда не бедствовала, не перебивалась, что называется, с хлеба на воду. Нет. И деньги у меня имелись. Небольшие, но имелись. В частности, была и стодолларовая бумажка. Вот ее-то я однажды и потеряла. Кошмар. Катастрофа. Я обыскала все: от карманов до шкафов. Денег нигде не было. Я горевала, сетовала, плакала, ругалась... И вдруг меня словно молния пронзила, я совершенно четко поняла: ведь для того, чтобы я нашла 100 долларов, эти самые доллары должен кто-то потерять. Представляете? Образно говоря, я желала у кого-то забрать деньги. Причем для меня было

совсем не важно, кем бы этот кто-то оказался: нищей бабушкой, которой дети в кои-то веки дали денег на пропитание; матерью, долго копившей на операцию своему больному ребенку; священником, собиравшим пожертвования на восстановление храма; просто человеком, у которого эта сотня — все его сбережения... Неважно. Я хотела денег, и все.

Наверное, был еще кто-то, такой же, как я, жаждавший денег — 100 злосчастных долларов. И чтобы ему найти их, мне пришлось потерять...

Когда до меня это все дошло, я буквально замерла, остолбенела. Потом ужаснулась своему, такому несправедному хотению, потом обрадовалась, что Господь вразумил меня. А потом я совершенно спокойно согласилась с фактом пропажи — пусть это будет платой за мое обучение. Согласитесь, такое понимание дорогого стоит.

И вот, с таким богатым, приобретенным багажом знаний поднимаюсь я однажды по ступенькам своего подъезда. И что вы думаете? Я чувствую под ногой бумажку. Наклоняюсь, поднимаю — моя 100-долларовая купюра. Точно, моя, я ее узнала, потому что на ней такое маленькое чернильное пятнышко было. Тут я вообще была близка к шоковому состоянию. Подъезд, ступени, по которым до меня прошло множество людей... Представляете?! Короче, необъяснимо. Хотя для меня-то все очень даже объяснимо и понятно. Такой вот урок Божий, и трудно сказать, какой из Его даров здесь больший: приобретенное понимание или возвращенные деньги. Думаю, первый».

Мы продолжали ехать. До места назначения оставалось совсем немного. Мне казалось, что я должна что-то сказать. Но что? К счастью, вновь заговорила таксистка:

«И еще об одном случае расскажу вам. Он относится к периоду моей жизни, который называется «торговля на рынке». Я ездила в Турцию, Польшу, Россию, закупала там товар и продавала его на рынке. Как-то захотелось мне сделать неординарную закупку, то есть привезти вещи, которые еще не были знакомы нашему покупателю, таких здесь в продаже на рынках пока не было, и люди, соответственно, не знали, как к такой одежде относиться: будет она носиться в Беларуси, нет? Естественно, с моей стороны это был риск, и, кроме того, нужна была определенная сумма денег, которой у меня не было. Я обратилась к знакомому, и он дал мне на конкретный срок, причем не маленький, нужную сумму. Вещи я привезла, но особым спросом они не пользовались. Продавались с большим трудом, если не сказать, что

практически не покупались. И вот, подходит срок возврата долга, а денег таких у меня нет и в помине. Каждый день я иду на рынок в надежде выручить приличную сумму, но тщетно. И постепенно ко мне приходит понимание. Именно постепенно, а не враз, как в предыдущем случае. Размышляя, прихожу к выводу, что не надо мне было брать эти деньги, не та ситуация. Разве я на благое дело просила их, чтобы помочь кому-то, поддержать? Нет! Я хотела, грубо говоря, «наварить» побольше денег для себя, обогатиться. И так я об этом своем поступке пожалела. Очень...

Ну вот. Наступил день расплаты. Вечером я должна была вернуть долг. С утра иду на рынок. И что вы думаете? За день я получаю денег от продажи ровно столько, сколько должна отдать. Ровно. Ни копейкой больше или меньше. И, кстати сказать, в мою бытность продавцом, ни до этого случая, ни после, такой огромной дневной выручки у меня не было никогда...»

Дорога наша подходила к концу. Я молчала. Ощущения, что нужно что-то сказать моей собеседнице о своих впечатлениях по поводу услышанного или спросить ее о чем-то еще, у меня, как ни странно, больше не было. Напротив. Было чувство какой-то логичной завершенности и наполненности — нашего пути, разговора, переживаний. Я поблагодарила, расплатилась, открыла дверцу, и тут таксистка повернулась ко мне и тихо, как-то даже таинственно, сказала: «Кстати, эта машина — тоже Его подарок. Очень необычный... Но об этом я вам расскажу в следующую нашу поездку...»

ГЕННАДИЙ ТРАВНИКОВ

Родник

Раннее утро, уже тепло, и на солнечных местах роса с травы сошла. Мы бежим на речку.

Я, мальчик одиннадцати лет, и мой брат девяти лет, да соседские девчонки разного возраста ходим на ферму помогать матерям на утренней дойке. Отдоившись, перетаскав тяжелых подоюников по десятку на каждого, профильтровав молоко, слив его в четырехведерные бидоны и помыв посуду, идем гулять до обеда.

Тяжелые, полные бидоны по сорок литров нам тягать и ставить в проточную воду не под силу. Это делают наши матери, с узловатыми и крепкими руками. Прихваченные из дома батоны быстро исчезают в наших ненасытных

ртах. Кружка парного, жирного молока хорошо этому способствует. Мы свободны и заряжены энергией.

Эх, расступись, крапива, несемся сквозь лес по знакомым тропинкам, срубая на бегу пруты головы зазевавшихся одуванчиков, колокольчиков и прочих белогвардейцев.

Корабельные сосны, мохнатые высоченные ели, такого же роста белые березы стоят не густо, позволяя пробиваться сквозь крону лучам солнца. Благодаря этому вся земля устлана мягкой шелковистой травой, которую, по причине неудобства местности, никто никогда не косил.

Бежим к роднику, который уже очень давно бьет в наших местах. Вероятно, он был здесь всегда. Родник находится в пяти метрах от реки Пырошни, соединяясь с ней ледяным ручейком. Воды в нем много, струя сильная, и купаться нам приходится выше по течению реки, где вода, еще не смешанная с родниковой, значительно теплее. Далее речка течет через дремучие леса и впадает в реку Песочню, а та — в Волгу.

Край наш болотистый, место рождения рек. К югу от деревни леса превращаются в труднопроходимую чащобу со скудным подлеском. Темные еловые храмы мешают грибникам ориентироваться, и немало приезжих, да и местных жителей, плутали в них подолгу.

Добежав до реки и на ходу раздевшись, прыгаем в воду. Речка мелкая, метров шесть шириной. Длинные зеленые водоросли колышутся на быстром течении, пряча в своих волосах мелкую рыбешку, которую мы, бродя по камням, пытаемся поймать руками. Накупавшись, бродим по полянкам, едим землянику.

Около родника развалины древней часовни из красного кирпича, заросшие травой и кустарником. Сам родник взят в каменный колодец диаметром около двух метров. Примерно на середине его, где-то в метре ото дна, оставлено отверстие, откуда по желобку вода и стекает на землю. Искупаться в нем нам и мысли никогда не приходило. Вода очень холодная, и погруженную в нее ладонь начинает ломить почти сразу.

От дороги к роднику ведут две березовые аллеи, посаженные, судя по размерам деревьев, примерно тогда, когда родились наши бабушки.

Вдруг в конце аллеи мы увидели приближавшуюся к нам телегу.

Коричневого цвета лошадка легко тянула поклажу, успевая подхватить мягкими своими губами то веточку, то травину. На телеге сидел человек и не торопил лошадь, а поглядывал на ровные шеренги белых стволов, как бы поражаясь величественному зрелищу или припоминая прошлые посещения этого места.

Телега подъехала к роднику. Мужчина спрыгнул и подошел к колодцу. Мы посторонились и сделали вид, что заняты ягодами. Не обращая на нас внимания, он наклонился над водой, зачерпнул двумя руками и умыл лицо, протер шею. Подошел к телеге и стал помогать подняться из нее другому мужчине, которого до этого было не видно, потому что он лежал. Не молодой мужчина, но и не старик еще, он тяжело вылез на землю, опираясь на руку спутника. Вида явно болезненного. Сильно худой, что стало особенно заметно, когда первый его раздел.

Мы смотрели внимательно, отойдя немного подальше.

— Он, наверное, его купать будет, — предположила Оля, наша соседка.

— Я слышала, что это святой источник, и кто в нем искупается, тот выздоровеет.

— Кто ж в такую холодину полезет? — сказал Петька, мой брат.

— Я бы, как хошь заболел, не полез бы.

Мы стали смотреть дальше.

Мужчина довел больного до колодца, перекинул его ноги внутрь. Больной не проявлял никакой реакции, даже когда весь опустился в воду с головой. Достав его наружу, возница растер полотенцем худое, с желтоватым оттенком тело, одел и положил обратно в телегу. Потом достал бутылку и набрал в нее воды из родника, заткнул пробкой и тоже положил в телегу рядом с собой. Отвязал лошадь, щипавшую густую траву, и не спеша поехал назад.

— Я эту лошадку знаю, — сказала Марина, сестричка Оли, но помладше года на три. — На ней к нам из соседней деревни родственник к папе приезжал. Я ее кормила.

Столь странное происшествие обсуждалось между нами весь день, а в деревне старшие мальчишки хвалились, что уже купались в роднике и никто не заболел. Хотя были и другие мнения, но их никто не слушал. Так приятно

было иметь свое собственное деревенское чудо. Потом мы узнали, что у того человека был рак, и он умер через неделю, но это нисколько не изменило нашего отношения к роднику, веру в его чудодейственную силу.

Прошло много лет. Мы все, друзья-товарищи, разъехались по стране, по городам, оставив наших родителей доживать свой век в деревне. Регулярно навещая их, встречались, случалось, и с ровесниками, вспоминая детство и делясь новостями. Правда, уехали из деревни не все. Кое-кто остался и работал в колхозе. Когда колхоз развалился, перебрались на заработки в леспромхоз.

Все попивали, не нарушая русскую традицию. Таким был и Сергей, наш товарищ по детским играм и забавам.

Работал сначала на тракторе в колхозе, потом грузчиком на пилораме. А по приезде в последний раз я не узнал его в священнике, проходящем под окном нашего дома. Спрашиваю маму, откуда батюшка? Церкви-то нет рядом?

— Серёга это, твой одноклассник. За пьянство с пилорамы выгнали. Отрастил волосы, бороду и вот, при часовне у источника служит.

— Вот тебе и на, — сказал я, — а уж было и живым видеть не надеялся. Помню он пил запойно.

— Он и сейчас пьет, вот вечером увидишь.

И правда, ближе к вечеру прошел Сергей нетвердой походкой в своем черном одеянии. По фигуре было видно, что с закуской у него теперь полный порядок. Высокий по природе и худой, он как-то потяжелел, в походке появилась некая вальяжность, и, несмотря на подпитие, он не терял своей солидности. Лицо, ставшее по причине бороды шире и значительнее, носило отпечаток прошлой жизни, что проявлялось, в основном, в форме и цвете его носа.

На другой день я решил отправиться к роднику, оценить произошедшие там перемены, встретиться и поговорить с Сергеем, если он там окажется. Мои подозрения, появившиеся уже давно, вполне подтвердились.

Нет того родника. Правда, вода все так же бьет из-под земли. Но нет березовых аллей, сосен, их обрамлявших. Нет той первозданности и

очарования, которые наш мозг приписывает воспоминаниям детства. Есть поляна, засаженная чугунными фонарями в стиле восемнадцатого века. На месте развалин часовни стоит новая, из белого кирпича. Устроены купальни для желающих исцеления. Стоянка машины — 200 р. Пластиковая бутылка для воды — 40. Свечи и иконы втридорога, по сравнению с городом.

Машин множество, из всех краев. Купальщики, в основном молодые мужики, их жены, дети. Короче, центр туризма. Автобусы регулярно привозят все новых и новых жаждущих. Туалеты, поставленные невдалеке и, видимо, обслуживаемые нерегулярно, насыщают лесной воздух соответствующими ароматами.

На ступенях часовни толпится народ, ждут выхода. Вот дверь открылась, и вышел Серёга в рясе. В одной руке сосуд, в другой метелочка. Бормоча какую-то заученную скороговорку, стал он всех присутствующих этой метелочкой обрызгивать. Люди подходили к нему и что-то совали под полу рясы, видимо, деньги, целовали руку и отходили.

Приглядевшись, я оценил размеры карманов, пришитых как-то хитро: снизу и изнутри. Увидев меня, стоящего в отдалении, он кивнул и улыбнулся. Я показал ему пальцем на деревню, он еще раз кивнул и вечером зашел к нам в своем объемном одеянии, заполнив собой всю прихожую.

— Ну, проходи, проходи, давненько не видались. Да разденься ты, лето же! Как ты в этом ходишь?

— По званию положено, — сказал Сергей, снимая свой длинный сюртук. Под ним оказались старые джинсы и рубашка с короткими рукавами. Первое впечатление, как говорят, самое верное, и оно оказалось вполне соответствующим ожиданию. Дружба с алкоголем не проходит бесследно ни для кого, и Сергей в этом смысле не был исключением. В первую очередь страдает лицо, потом интеллект в самых тонких его проявлениях. Дальнейшая дружба с алкоголем ведет к деградации личности, и особенно это заметно, если встречаться с человеком достаточно редко.

Лицо с синими прожилками вен, мешки под глазами, мутная роговица — всё это присутствовало у Сергея. Он достал из кармана своего безразмерного черного лапсердака пол-литровую бутылку коньяку «Старейшина».

— Вот, в дар получил, сейчас за встречу по маленькой, — он подошел к кухонной полке, по-хозяйски достал три стопки и поставил их на стол. Мама моя отказалась пить и ушла в огород. Мы налили по сто грамм, Сергей

перекрестил стопку и отправил ее содержимое в рот, закусил свежим огурцом, я тоже отпил половину.

— Ну, рассказывай, — предложил я. — Как докатился до жизни такой?

— Эх, что рассказывать? Знаешь, наверное, что я на пилораме работал? Ну, раз не вышел, заболел, два не вышел, запил по случаю выздоровления. Уволили, да я и не жалею теперь. Сначала раствор мешал на строительстве часовни, потом сторожем ночным. Там и спал, чтобы инвентарь не растащили. Потом приехал местный архиерей, меня увидел и говорит: «Что это за бородач такой важный?» Я к тому времени оброс сильно. Вот, окультирили мою дикую бороду, волосы прибрали, чтобы я, значит, не пугал гостей. Потом батюшка стал приезжать по выходным. Старенький такой, но с меня ростом. Служб не было, так, ходил, освящал, что не сунут. Вот я у него и насобачился с этими молитвами. Потом он помер, а меня взяли в часовню торговать. Мне что, приду, лампадки зажгу и стою, торгую. Раз в месяц товар привозят, деньги забирают, платят 10 тысяч. Для наших мест очень прилично.

— Ты вчера, по-моему, выступал не в роли продавца.

— Это точно. А что поделаешь? Люди подходят, спрашивают, как водичку освятить? Я говорю, что источник освящен и значит вода в нем святая — не верят, хотят, чтобы по-особенному, чтобы сильнее помогала. Ну что делать? От батюшки облачение осталось, мне впору, надел и вышел к народу. Выгляжу солидно. Обрадовались, деньги стали совать. А я что? Мне не трудно. Вот, раз надел, так и ношу.

— Смотри, попадешься. Благодатью незаконно торгуешь. Доложат кому следует, снимут тебя с родника.

— Это вряд ли. Здесь кроме меня некому приглядеть. Зимой дорожки чищу, особенно на Крещение. Фонари зажигаю, когда темно. Купальни обновляю, если где перила качаются или ступеньки. На зиму коврики резиновые стелю, чтобы не скользко. У меня и весь инструмент есть. Вот на деньги доброхотов снегоочиститель купил, силы уже не те, а дорожки чуть не полкилометра. Подкопил себе маленько, на жизнь хватает.

Приезжал богач из Москвы, хотел баньку поставить рядом. Чтобы из бани — и в родник, бултых. Это вроде должно усиливать святость. Но не разрешили ему. Где баня, там, откуда ни возмись, и водка, и бабы. Давеча опять его видел, говорит, что утрясает вопрос в епархии. Может, и утрясет, тогда, конечно, тут я не нужен буду. Дорогу асфальтовую сделают. Гостевые дома

поставят, развлечения разные, шашлык-машлык, ну, сам понимаешь, — он налил еще по сто грамм коньяку и тут же выпил.

— Тебе бы пить бросить, не пробовал?

— Надо бы, все нутро по утрам болит, а выпьешь, вроде ничего.

— К врачу тебе надо.

— До врача сорок километров, да и что врач? Пошлет в область, а тут кто будет дела делать?

— Ну, ты хотя бы не каждый день пей-то. Как у тебя с женой?

— Живем потихоньку. Сын в городе обустроился, мать вот болеет. Живем как все.

— Слушай, а исцеления на роднике были?

— Да кто ж знает? Окунулись, воды набрали и уехали. Бывает в день по пятнадцать автобусов. Некоторые орут от холодной воды, как поросята, так, может, и исцеляются в это время. Приезжал какой-то колдун знаменитый. Кругами ходил, руками махал. Сказал, что здесь место силы. Во как! Ему виднее.

Только вот подзагадили его, это место. А помнишь, в детстве какая красота была?! Ладно, я пойду. Поздно уже, завтра в семь надо быть на месте.

Я проводил Сергея до ворот и долго смотрел ему вслед. Удачи тебе, одноклассник.

Финал

Пушистые зимние сумерки опустились на Чубарку, старую русскую деревню в двадцать домов, выстроившихся в одну улицу вдоль просёлочной дороги. Покрытые снегом яблони, вишни и сливы, протянув к темнеющему небу в немой жалобе чёрные ветки, привычно-покорно переносят трескучую январскую стужу. На светлом ещё небе появились первые звёздочки, и яркий рогатый месяц повис над еловым лесом, слегка цепляя округлым своим боком верхушки деревьев. Зайцы-беляки пришли из леса в сад полакомиться яблоневой корой. Они обглаживают беззащитные деревца всё выше и выше, по мере того как прибавляют в росте сугробы.

На краях деревни, той, что со стороны пруда, и той, что от большака, светятся два окошка. Дымят две потрескавшиеся печные трубы, согревая оставшихся в живых жителей ещё совсем недавно многолюдной деревни. Две точки ещё теплятся на бескрайнем, скованном морозом ледяном русском просторе.

Подруги детства доживают свой век в том же месте, где они и родились, где выросли их дети и внуки, где умерли их родители и мужья. Вчерашняя метель вдруг неожиданно закончилась, полностью скрыв сугробами всякое присутствие человека. Ни тропинки, ни следочка.

Раз в неделю или две к старушкам приезжают дети, привозят нехитрый провиант. Хлеб, макароны, консервы, сахар. Иногда побалуют чем повкуснее, и за то спасибо. Дров к печи натаскают на всю неделю, воды наносят и уедут. В город зовут, но как бы нехотя, в надежде на отказ. Да старушки и сами всё понимают, не набиваются, в надежде пережить хотя бы ещё одну зиму в своём, а не чужом доме. Всё болит, ноги идут только с костылями. Хорошо, что телевизор работает, и телефон сотовый есть.

— Алё, Вера, ты?

— Кто ж ещё-то?

— Так может, кто к тебе приехавши, откуда я знаю. Окошко замёрзло, ничего не вижу.

— Мимо тебя не проехали бы, услышала.

— Чё-то ты нынче не в духе, случилось чего?

— Да где-то продуло, что ли. Ломает всю. Звонила в город, говорят, грипп. У меня сноха, ты знаешь, доктор. Воды, говорит, больше пей и чаю с мёдом и лимоном. Внуки привет передали. Обещали летом приехать. Жаль, что козу не могу больше держать.

— И я чай пью постоянно со зверобоем и мятой. Ещё прополис добавлять хорошо, капель по десять. Про козу и думать забыла, кур извела, не под силу мне, ноги совсем не идут.

— Помнишь, сколько по молодости скотины держали? Корова, десяток овец, два поросё, кур несчитано. Всё успевали, вот. Да ещё и коммунизм, мать его, строили. Ни черта не вышло из этого, только Россию разорили. А теперь кошку одну держу в доме. Во дворе ещё какая-то пришлая живёт, из Кольцово, чай. Там Петровну то Семёнову в город увезли, её кошка, не

иначе. Как она за три версты по морозу добежала, не пойму? Учужала дух жилой. В дом её моя Мурка не пускает, на дворе она живёт, в сене.

— Моя лохматая всё к печке ближе, старая, хотя мышей ловит ещё.

— Что-то голова разболелась к вечеру.

— Давление померь, аппарат же у тебя есть.

— Да не найду, забыла, куда сунула. Ой, что-то ноги не держат, в глазах плывёт, давай, до завтра.

— Давай, пока, спать ложись.

Через три дня в единственном тёплом домике на огромном пространстве, покрытом космическим мраком, безнадёжностью и беспощадным морозом, живут уже три кошки и один старый, глубоко несчастный человек. Горит лампочка под потолком, и блики света освещают нехитрый деревенский быт. Русскую печь, покаты́й пол, круглый стол с клеёнкой, три заиндевевших окна с занавесками, лавку с баком воды, газовую плиту и старый сервант, купленный в городе сорок лет назад, с подложенными под ножки чурочками для более-менее горизонтального его положения. С иконы в углу смотрит богоматерь с безучастным лицом и младенцем на руках.

Кошки, поджав под себя лапки, расположились в разных углах избы. Им, старым, уже не сдружиться. В их наполовину зажмуренных глазах отражается экран телевизора, откуда президент бодро сообщает о новых военных достижениях такой далёкой, неизвестной и непонятной им страны.

Случись любому человеку в этот момент увидеть их усатые морды, то непременно прочёл бы он на них усталую чеширскую усмешку.